

Федоръ Ивановичъ

ТЮТЧЕВЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ



Сборникъ историко-литературныхъ статей

СОСТАВИЛЪ

В. И. Покровскій

Москва 1911

Издание 2-е, дополненное.

ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ

В. Покровскаго:

Щеголи въ сатирической литературѣ XVIII вѣка. Ц. 1 р. 50 к.
Щеголихи въ сатирической литературѣ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.
Бѣлинскій, какъ критикъ и создатель исторіи новой русской литературы. Ц. 50 к. Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.

Содержаніе: I. Критика Бѣлинского — литературная школа для писателей и общества того времени. — II. Бѣлинский и Мерзляковъ. — III. Бѣлинский и Полевой. — IV. Бѣлинский и Надеждинъ. — V. Бѣлинский и Шевыревъ. — VI. Булгаринъ, Сенковскій и Бѣлинскій. — VII. Бѣлинский, какъ создатель исторіи новой русской литературы. — VIII. Взглядъ Бѣлинского на народную поэзію и древнюю книжную словесность. — IX. Ошибочность воззрѣй Бѣлинского на некоторые произведенія новѣйшей литературы.

Поэзія, какъ главный факторъ эстетического развитія. Ц. 1 р. Изд. 2-е. Включена Мин. Нар. Просв. въ „Каталогъ книгъ для ученическихъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній“.

Столѣтіе сатирическаго журнала „Что-нибудь отъ бездѣлья на досугѣ“. Содержаніе: Характеръ сатиры журнала. Общее содержаніе. Отношеніе къ предшественникамъ. Литературная дѣятельность писателя. Ц. 20 к.

О педагогическомъ значеніи класснаго чтенія отрывковъ изъ образцовыхъ писателей. Ц. 60 к. (Распродано.)

Отношенія А. С. Пушкина къ отечественнымъ писателямъ. Содержаніе: I. Введеніе.— II. Пушкинъ приглашаетъ другихъ поэтовъ къ служенію музамъ. — III. Радостное привѣтствіе Пушкинымъ произведеній поэтовъ. — IV. Живое участіе Пушкина къ дѣятельности поэтовъ.— V. Уваженіе Пушкина къ достоинству имени писателя.— VI. Альтруистическая и симпатическая чувствованія Пушкина къ писателямъ. Ц. 20 к.

„Мой досугъ или уединеніе“. (Страница изъ русской журналистики XVIII вѣка.) Ц. 20 к.

Дамскій журналъ. Ц. 50 к.

Журналъ для милыхъ. Ц. 25 к.

Рогоносы въ эпиграммахъ XVIII вѣка. Ц. 50 к.

Смертодавы (врачи) въ сатирической литературѣ XVIII вѣка. Ц. 30 к.

Книга и читатель двѣсти лѣтъ назадъ. Ц. 50 к.

Жены декабристовъ. (Сборникъ историко-литературныхъ статей, съ портретами). Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ историко-литературныхъ статей В. Г. Бѣлинскаго по новой русской литературѣ. Ц. 1 р. (8⁰, 428 стр.) Допущенъ Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. въ ученическія, старшаго возраста, библиотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ бесплатныя народныя читальни и библиотеки.

Исторической хрестоматіи (Сборника историко-критическихъ изслѣдований) выпуски:

- I вып. О народной словесности. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.
- II " О книжной словесности XI—XVI вв. Издание 2-е. Ц. 1 р. 50 к.
- III " О книжной словесности XVI—XVII вв. Издание 2-е. Ц. 2 р.
- IV " О Петровской и Елизаветинской эпохахъ и ихъ литературныхъ представителяхъ. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 50 к.
- V " О ложно-классическомъ направленіи въ иностранной и русской литературахъ. Ц. 2 р. 50 к.

Ѳедоръ Ивановичъ

ТЮТЧЕВЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Издание 2-е, дополненное.

Цена 30 коп.



Складъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАИЛОВА.
Москва, ул. Тверской, д. Барварин. Акц. О-ва. Тел. 120—95.
1911.



ТИПОГРАФІЯ Г. ЛІССНЕРА И Д. СОВКО.

Москва, Воєвінка, Крестовоаадв. пер., д. 9.

191

ДІНАРЯКТО ПРЕДИСЛОВІЕ.

Во второмъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи: Духовная атмосфера въ Россіи ко времени возвращенія на родину Тютчева, *Пѣтухова*.—Тютчевъ—поэтъ-художникъ, мыслитель и поэтическій борецъ, *Амона*.—Тютчевъ, какъ поэтъ-созерцатель, *Круковскаго*.—Поэзія Тютчева, какъ выразительница внутренняго міра поэта, *его же*.—Тютчевъ, какъ поэтическій изобразитель настроенія, *Пѣтухова*.—Тютчевъ—пѣвецъ природы, *его же*.—Художественные пріемы въ изображеніи природы Тютчева, *Саводника*.—Историко-національныя отраженія лирики Тютчева, *Круковскаго*.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Стран.

Федоръ Ивановичъ Тютчевъ, его домашняя среда и дипломатическая дѣятельность, <i>Аксакова</i>	1
Духовная атмосфера въ Россіи ко времени возвращенія на родину Тютчева, <i>Пльтухова</i>	10
Занятія Тютчева на родинѣ, <i>Ив. Аксакова</i>	11
Тютчевъ—поэтъ-художникъ, мыслитель и поэтический борецъ, <i>Н. Амона</i>	12
Возвышенное въ поэзіи Тютчева, <i>Владимира Соловьевъ</i>	31
Тютчевъ, какъ поэтъ-созерцатель, <i>Круновскаго</i>	43
Поэзія Тютчева, какъ выразительница внутренняго міра поэта, <i>его же</i>	51
Тютчевъ, какъ поэтический изобразитель настроенія, <i>Пльтухова</i>	52
Художественные пріемы въ изображеніи природы Тютчева, <i>Саводника</i>	54
Тютчевъ—пѣвецъ природы, <i>Пльтухова</i>	61
Картины природы въ стихотвореніяхъ Тютчева, <i>Ив. Аксакова, Н. Н.</i>	63
Историко-національныя отраженія лирики Тютчева, <i>Курковскаго</i>	71
Творчество Тютчева, <i>Аксакова</i>	73
Особенности содержанія и формы поэзіи Тютчева, <i>И. Т.</i>	76
Личность Тютчева, <i>Аксакова, Плетнева</i>	77

Федоръ Ивановичъ Тютчевъ, его домашняя среда и дипломатическая деятельность.

Федоръ Ивановичъ родился въ 1803 году 23 ноября въ родовомъ Тютчевскомъ имѣніи, селѣ Овстугъ, Орловской губерніи, Брянскаго уѣзда. Тютчевы принадлежали къ старинному русскому дворянству. Отецъ Федора Ивановича, Иванъ Николаевичъ, отличался необыкновеннымъ благодушiemъ, мягкостью, рѣдкою чистотою нравъ и пользовался всеобщимъ уваженiemъ. Окончивъ свое образованіе въ Петербургѣ, въ греческомъ корпусѣ, основанномъ Екатериной въ ознаменованіе рожденія великаго князя Константина Павловича, и подъ вліяніемъ мысли о «греческомъ проектѣ», — Иванъ Николаевичъ дослужился въ гвардіи до поручика и на 22-мъ году жизни женился на Екатеринѣ Львовнѣ Толстой, которая была воспитана, какъ дочь, родною своею теткою, графинею Остерманть. Затѣмъ Тютчевы поселились въ Орловской деревнѣ, на зиму переѣзжали въ Москву, гдѣ имѣли собственные дома и подмосковную, — однимъ словомъ, зажили тѣмъ извѣстнымъ образомъ жизни, которымъ жилось тогда такъ привольно и мирно почти всему русскому зажиточному, досужему дворянству, не принадлежавшему къ чиновной аристократіи и не озабоченному государственною службою. Не выдѣляясь ничѣмъ изъ общаго типа московскихъ барскихъ домовъ того времени, домъ Тютчевыхъ — открытый, гостепріимный, охотно посѣщаемый многочисленною роднею и московскимъ свѣтомъ — былъ совершенно чуждъ интересамъ литературнымъ, и въ особенности русской литературы. Радушный и щедрый хозяинъ былъ, конечно, человѣкъ разсудительный, съ спокойнымъ, здравымъ взглядомъ на вещи, но не обладалъ ни яркимъ умомъ ни талантами. Тѣмъ не менѣе въ натурѣ его не было никакой узкости, и онъ всегда былъ готовъ признать и уважить права чужой, болѣе даровитой природы. Федоръ Ивановичъ Тютчевъ и по виѣшнему виду (онъ былъ очень худъ и малаго роста) и по внутреннему духовному строю былъ совершенною противоположностью своему отцу; общаго у нихъ было развѣ одно благодушіе. За то онъ чрезвычайно походилъ на свою мать, Екатерину Львовну, женщину замѣчательнаго ума, сухощаваго, первнаго сложенія, съ наклонностью къ ипохондрии, съ фантазіей, развитою до болѣзnenности. Отчасти по принятому тогда въ свѣтскомъ кругу обыкновенію, отчасти, можетъ-быть, благодаря воспитанію Екатерины Львовны, въ домѣ графини Остерманть, въ этомъ, вполнѣ русскомъ семействѣ Тютчевыхъ преобладалъ и почти исключительно господствовалъ французскій языкъ, такъ что не только всѣ разговоры, но и вся переписка родителей съ дѣтьми и дѣтей

между собою, какъ въ ту пору, такъ и потомъ, въ теченіе всей жизни, велась не иначе, какъ по-французски. Это господство французской рѣчи не исключило однако у Екатерины Львовны приверженности къ русскимъ обычаямъ и удивительнымъ образомъ уживалось рядомъ съ церковно-славянскимъ чтеніемъ псалтиреи, часослововъ, молитвенниковъ у себя, въ спальнѣ, и вообще со всѣми особенностями русского православнаго и дворянскаго быта. Явленіе, впрочемъ, очень нерѣдкое въ то время, въ концѣ XVIII и въ самомъ началѣ XIX вѣка, когда русскій литературный языкъ былъ еще дѣломъ довольно новымъ, еще только достояніемъ «любителей словесности», да и дѣйствительно не былъ еще достаточно приспособленъ и выработанъ для выраженія всѣхъ потребностей перенятаго у Европы общежитія и знанія. Вмѣстѣ съ готовою западною цивилизаціей заимствовалось и готовое, чужое орудіе обмѣна мыслей. Многіе русскіе государственные люди, превосходно излагавшіе свои мнѣнія по-французски, писали по-русски самыи неуклюжимъ, варварскимъ образомъ, точно сѣѣзжали съ торной дороги на жесткія глыбы только что поднятой нивы. Но часто, одновременно съ чистѣйшимъ французскимъ жаргономъ, словно перенесеннымъ бурею революціи изъ Сен-Жерменскаго предмѣстія въ петербургскіе и московскіе салоны, — изъ однихъ и тѣхъ же усть можно было услышать живую, почти простонародную, идіоматическую рѣчъ, болѣе народную во всякомъ случаѣ, чѣмъ наша настоящая книжная или разговорная. Разумѣется, такая устная рѣчъ служила чаше для споровъ съ крѣпостною прислугою и съ низшими слоями общества, — но тѣмъ не менѣе эта грубая противоположность, эта рѣзкая бытовая черта, рядомъ съ вѣрностью бытовымъ православнымъ преданіемъ, объясняетъ многое и очень многое въ исторіи нашей литературы и нашего народнаго самосознанія.

Иванъ Николаевичъ Тютчевъ умеръ въ 1846 году, а Екатерина Львовна въ 1866, на 90-мъ году жизни, когда ея сыну-поэту было около 63 лѣтъ. Старшій сынъ ихъ Николай, родившійся тремя годами ранѣе Федора Ивановича, не имѣлъ съ нимъ ни малѣйшаго сходства, ни физическаго ни нравственнаго. Человѣкъ очень умный и начитанный, Николай Ивановичъ не былъ надѣленъ какими-либо особынными талантами, но отличался строгою аккуратностью, точностью, необыкновенною добротою и скромностью. Страстно любя меньшаго брата, онъ былъ его постояннымъ геніемъ-хранителемъ, — при всякой бѣдѣ, всюду поспѣшалъ къ нему на помощь: привязанность къ «брату Федору» наполняла всю его жизнь. Дослуживши до чина полковника въ генеральномъ штабѣ, онъ вышелъ въ отставку и проживалъ потомъ то въ деревнѣ, то за границею, то въ Москвѣ, гдѣ и скончался въ 1870 году.

Въ этой-то семье родился Федоръ Ивановичъ. Съ самыхъ первыхъ лѣтъ онъ оказался въ ней какимъ-то особнякомъ, съ признаками высшихъ дарованій, а потому тотчасъ же сдѣгался любимцемъ

и баловнемъ бабушки Остерманъ, матери и всѣхъ окружающихъ. Это баловство, безъ сомнѣнія, отразилось впослѣдствіи на образованіи его характера: еще съ дѣтства стала онъ врагомъ всяаго принужденія, всякаго напряженія воли и тяжелой работы. Къ счастью, ребенокъ былъ чрезвычайно добросердеченъ, кроткаго, ласковаго нрава, чуждъ всякихъ грубыхъ наклонностей; всѣ свойства и проявленія его дѣтской природы были скрашены какою-то особенностю, изящной духовностью. Благодаря своимъ удивительнымъ способностямъ, учился онъ необыкновенно успѣшно. Но уже и тогда нельзя было не замѣтить, что ученіе не было для него трудомъ, а какъ бы удовлетвореніемъ естественной потребности знанія. Въ этомъ отношеніи баловницею Тютчева являлась сама его талантливость.

Къ чести родителей Тютчева надоно сказать, что они ничего не щадили для образованія своего сына, и по десятому году, немедленно послѣ изгнанія французовъ, пригласили къ нему воспитателемъ Семена Егоровича Раича. Выборъ былъ самый удачный. Человѣкъ ученый и вмѣстѣ вполнѣ литературный, отличный знатокъ классической древней и иностранной словесности, Раичъ сталъ извѣстенъ въ нашей литературѣ переводами въ стихахъ Виргилиевыхъ «Георгикъ», Тассова «Освобожденного Іерусалима» и Ариостовой поэмы «Неистовый Роландъ». Въ домѣ Тютчевыхъ онъ пробылъ семь лѣтъ; тамъ одновременно трудился онъ надъ переводами латинскихъ и италіанскихъ поэтовъ и надъ воспитаніемъ будущаго русскаго поэта. Кромѣ того, онъ самъ писалъ недурные стихи. Въ двадцатыхъ годахъ,— уже послѣ того, какъ Раичъ изъ дома Тютчевыхъ перешель къ Николаю Николаевичу Муравьеву, основателю знаменитаго Училища колонновожатыхъ, для воспитанія меньшаго его сына, извѣстнаго впослѣдствіи писателя Андрея Николаевича Муравьева,— онъ сдѣлался центромъ особенного литературнаго кружка, гдѣ собирались Одоевскій, Погодинъ, Ознобишинъ, Путята и другіе замѣчательные молодые люди, при содѣйствіи которыхъ Раичъ и издалъ нѣсколько альманаховъ. Позже онъ же два раза принимался издавать журналъ «Галатею». Это былъ человѣкъ въ высшей степени оригинальный, безкорыстный, чистый, вѣчно пребывавшій въ мірѣ идиллическихъ мечтаній, самъ олицетворенная буколика, соединявшій солидность ученаго съ какимъ-то дѣственнымъ поэтическимъ пыломъ и младенческимъ незлобiemъ. Онъ происходилъ изъ духовнаго званія; извѣстный кievскій митрополитъ Филаретъ былъ ему родной братъ.

Нечего и говорить, что Раичъ имѣлъ большое вліяніе на умственное и нравственное сложеніе своего питомца и утвердилъ въ немъ литературное направленіе. Подъ его руководствомъ Тютчевъ превосходно овладѣлъ классиками и сохранилъ это знаніе на всю жизнь; даже въ предсмертной болѣзни, разбитому параличомъ, ему случалось приводить на память цѣлые строки изъ римскихъ историковъ. Ученикъ скоро сталъ гордостью учителя, и уже 14 лѣтъ перевелъ очень порядочными стихами посланіе Горация въ Меценату.

Раичъ, какъ членъ основаннаго въ 1811 году въ Москвѣ «Общества Любителей Россійской словесности», незамедлилъ представить этотъ переводъ Обществу, гдѣ, на одномъ изъ обыкновенныхъ засѣданій, онъ былъ одобренъ и прочтень вслухъ славнѣйшимъ въ то время московскимъ критическимъ авторитетомъ — Мерзляковымъ. Вслѣдъ за тѣмъ, въ чрезвычайномъ засѣданіи марта 30-го 1818 года, Общество почило 14-лѣтняго переводчика званіемъ «сотрудника», самый же переводъ напечатало въ XIV части своихъ «Трудовъ». Это было великимъ торжествомъ для семейства Тютчевыхъ и для самого юнаго поэта. Едва ли, впрочемъ, первый литературный успѣхъ не былъ и послѣднимъ, вызвавшимъ въ немъ чувство нѣкотораго авторскаго тщеславія.

Въ этомъ же 1818 году Тютчевъ поступилъ въ Московскій университетъ, т.-е. сталъ єздить на университетскія лекціи, и сперва — въ сопровожденіи Раича, который, впрочемъ, вскорѣ, именно въ началѣ 1819 года, разстался съ своимъ воспитанникомъ. Въ университетѣ Тютчевъ близко познакомился со студентомъ Погодинымъ, который былъ старше его тремя годами и старше по курсу.

Со вступленіемъ Тютчева въ университетъ, домъ его родителей увидѣлъ у себя новыхъ, небывалыхъ въ немъ доселѣ посѣтителей. Радушно принимались и угощались стариками и знаменитый Мерзляковъ, и преподаватель греческой словесности въ университетѣ, Оболенскій, и многие другіе ученые и литераторы: собесѣдникомъ ихъ былъ 15-лѣтній студентъ, который смотрѣлъ уже совершенно «развитымъ» молодымъ человѣкомъ, и съ которымъ всѣ охотно вступали въ серіозные разговоры и пренія. Такъ продолжалось до 1821 года.

Въ этомъ году, когда Тютчеву не было еще и 18 лѣтъ, онъ сдалъ отлично свой послѣдній экзаменъ и получилъ кандидатскую степень. По всѣмъ соображеніямъ родныхъ и знакомыхъ, предъ нимъ открывалась блестящая карьера. Но честолюбивые виды отца и матери мало тревожили душу беспечнаго кандидата. Предоставивъ рѣшеніе своей будущей судьбы старшимъ, самъ онъ весь отдался своему настоящему. Жаркій поклонникъ женской красоты, онъ охотно посѣщалъ свѣтское общество и пользовался тамъ успѣхомъ. Но ничего похожаго на буйство и разгуль не осталось въ памяти обѣ немъ у людей, знаяшихъ его въ эту первую пору молодости. Да, буйство и разгуль и несвойственны были его природѣ: для него имѣли цѣну только тѣ наслажденія, гдѣ было мѣсто искреннему чувству или страстному поэтическому увлечению. Не осталось также за это время никакихъ слѣдовъ стихотворческой дѣятельности: домашніе знали, что онъ иногда забавлялся писаньемъ остроумныхъ стишковъ на разные мелкие случаи, — и только.

Въ 1822 году Тютчевъ былъ отправленъ въ Петербургъ, на службу въ Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ. Но въ іюнь-мѣсяцѣ того же года его родственникъ, знаменитый герой Кульмской битвы, потерявшій руку на полѣ сраженія, графъ А. И. Остерманъ-Толстой посадилъ его съ собой въ карету и увезъ

за границу, гдѣ и пристроилъ свершатнымъ чиновникомъ къ русской миссии въ Мюнхенъ. «Судѣй угодно было вооружиться послѣднею рукою Толстого (вспоминаетъ Федоръ Ивановичъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ брату, лѣтъ 45 спустя), чтобы переселить меня на чужбину».

Это былъ самый рѣшительный шагъ въ жизни Тютчева, опредѣлившій всю его дальнѣйшую участіе.

На козлахъ той кареты, которая увезла графа Остермана-Толстаго и 18-лѣтняго Тютчева за границу, усѣлся и благополучно прибылъ въ Мюнхенъ вмѣстѣ съ ними старикъ-дядька Федора Ивановича, Николай Аѳанасьевичъ Хлоповъ. Онъ не захотѣлъ разстаться съ «дитятею», которое взлелѣялъ съ 4-лѣтняго возраста,— которое и само платило ему равной привязанностью. Съ умиленіемъ упоминаетъ о своемъ дядѣкѣ и о своей дѣтски-страстной къ нему любви покойный поэтъ — также въ одномъ изъ писемъ къ своему брату, въ 1869 году, почти полстолѣтія послѣ путешествія въ Мюнхенъ. Николай Аѳанасьевичъ былъ когда-то крѣпостнымъ Татищева, затѣмъ отпущенъ на волю и поступилъ въ услуженіе къ Ивану Николаевичу Тютчеву, у котораго и остался по самую свою смерть. Грамотный, благочестивый, онъ пользовалсяъ большимъ уваженіемъ своихъ господъ, и во время пребыванія въ Мюнхенѣ вель постороннюю переписку съ Екатериной Львовной. Онъ аккуратно доносилъ ей всѣ интересныя, съ его точки зрѣнія, подробности обѣ ея сыновъ — лѣнивомъ на письма и нисколько не заботившемся о материальной сторонѣ существованія. Къ сожалѣнію, не сбереглось ни одного изъ этихъ донесеній, а было бы любопытно видѣть, какъ отражалась жизнь поэта ея поэтическою стороныю въ своеобразномъ изложеніи стараго дядьки и сквозь призму его сужденій.

Въ Мюнхенѣ старикъ остался вѣренъ всѣмъ русскимъ обычаямъ, и въ нѣмецкой квартирѣ Тютчева устроилъ себѣ уютный русскій уголокъ съ иконами и лампадою, словно перенесенный изъ какого-нибудь московскаго прихода Николы на Курьихъ Ножкахъ или въ Сапожкахъ. Онъ взялъ въ свое завѣдываніе хозяйство юнаго дипломата и собственноручно готовилъ ему столъ, угождая его, а порою и его пріятелей-иностраницъ, произведеніями русской кухни. Николай Аѳанасьевичъ остался въ Мюнхенѣ до самой женитбы Федора Ивановича въ 1826 году, а потомъ возвратился къ Ивану Николаевичу, въ домѣ котораго, черезъ нѣсколько лѣтъ, и умеръ. Онъ завѣщалъ своему питомцу нарочно имѣ сооруженную для него, Федора Ивановича, икону Феодоровской Божией Матери, съ изображеніями четырехъ святыхъ по угламъ, празднуемыхъ въ самые, по мнѣнію Хлопова, знаменательные для Тютчева дни. Выборъ этихъ дней и надписи на задней доскѣ образа, начертанныя самимъ Николаемъ Аѳанасьевичемъ, его тяжелымъ, старообразнымъ почеркомъ, въ высшей степени оригиналны: въ нихъ столько простой, искренней любви и въ то же время столько наивнаго смѣшенія понятій,

что ихъ нельзя читать безъ особенного умиленія и улыбки. Сзади иконы и по срединѣ написано: Сему образу празднество февраля 5; въ сей день мы пріѣхали въ Петербургъ, гдѣ онъ вступилъ въ службу». На правомъ верхнемъ углу, позади апостола Варѳоломея, надпись, объясняющая день отъѣзда «въ Баварію» (1821 г., іюня 11) и пріѣзда въ Москву, чрезъ три года, въ отпускъ. На другомъ углу, соотвѣтствующемъ изображенію преподобнаго Макарія, слѣдующая надпись: «Генваря 19, 1825 г. Федоръ Ивановичъ долженъ помнить, что случилось въ Мюнхенѣ отъ его нескромности и какая грозила опасность». Въ низу, позади св. Евѳимія Великаго: «20 Генваря, т.-е. на другой же день, все кончилось благополучно». Наконецъ, на четвертомъ углу: «св. Исакія. Въ сей день, въ бытность нашу въ Варшавѣ» (проездомъ въ отпускъ) «произведенъ Федоръ Ивановичъ въ камер-юнкеры». Затѣмъ, опять по срединѣ, другая надпись: «Въ память моей искренней любви и усердія къ моему другу Федору Ивановичу Тютчеву. Сей образъ по смерти моей принадлежитъ ему. Подписано 1826 года, марта 5-го, Николай Хлоповъ».

И образъ свято сохранился у Тютчева въ кабинетѣ до самой его кончины.

Какъ ни мелочна, повидимому, эта биографическая подробность, но она не лишена значенія. Она характеризуетъ и самого Тютчева, котораго слуга, бывшій крѣпостной, его дядька и поваръ, называетъ своимъ другомъ, и ту эпоху, когда типы, подобные Хлопову, были нерѣдки. Благодаря имъ, этимъ высокимъ нравственнымъ личностямъ, возникавшимъ среди и вопреки безнравственности исторического соціального строя,— даже въ чудовищную область крѣпостныхъ отношений проступали, порою, кроткіе лучи все облагораживающей, все возвышающей любви. Условія зависимости и неравенства согрѣвались человѣчностью, даже окрашивались какимъ-то мягкимъ, поэтическимъ колоритомъ. Николай Аѳанасьевичъ вполнѣ напоминаетъ знаменитую няню Пушкина, воспѣтую и самимъ поэтомъ, и Дельвигомъ, и Языковымъ. Этимъ нянамъ и дядькамъ должно быть отведено почетное мѣсто въ исторіи русской словесности. Въ ихъ нравственномъ воздействиіи на своихъ питомцевъ слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, отчасти, искать объясненіе: какимъ образомъ, въ концѣ прошлаго и въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія, въ наше оторванное отъ народа общество,— въ эту среду, хвастливо отрекавшуюся отъ русскихъ историческихъ и духовныхъ преданій, пробирались иногда, неслышно и незамѣтно, струи чистѣйшаго народнаго духа? Откуда и чѣмъ питалось въ нашихъ, повидимому, вполнѣ оффранцуженныхъ поэтахъ и дѣятеляхъ, проявлявшееся въ нихъ порою истинно-русское чувство и русская мысль? Да и вообще, кажется намъ, исторія умственнаго общественнаго развитія въ Россіи едва ли можетъ быть вполнѣ понята безъ частной исторіи семей, безъ оцѣнки той степени участія, повидимому, неразумнаго, самовольнаго, непрошеннаго, но тѣмъ не менѣе часто спасительнаго,

которое въ нашей личной и общественной судьбѣ приходится на долю земѣ и быту, — непосредственному дѣйствію преданія и обычаевъ... Конечно, не Хлопову собственно былъ обязанъ Тютчевъ сохраненіемъ своей духовной самостоятельности на чужбинѣ; но не могла же, однако, воспріимчивая душа поэта не испытать особенного благотворнаго ощущенія, когда тамъ, въ Баваріи, вдалекѣ отъ Россіи, по возвращеніи иной разъ поздней ночью на свою нѣмецкую квартиру съ какого-нибудь придворнаго нѣмецкаго бала или раута, — его встрѣчала ласковая русская журьба и осѣняла тихимъ своимъ свѣтомъ лампада, неугасимо теплившаяся предъ иконами старого дядьки.

Такъ какъ мы уже заговорили о бытовыхъ непосредственныхъ «вліяніяхъ» въ жизни Тютчева, то приведемъ и еще образчикъ. Вотъ два отрывка изъ писемъ Федора Ивановича къ своей второй женѣ. Они рисуютъ намъ наглядную картину домашнаго быта того времени, а также и взаимныхъ отношеній Тютчева и Екатерины Львовны, т.-е. сына и матери, раздѣленныхъ, повидимому, неизмѣримо умственною пропастью: онъ — высокообразованный дипломатъ, воспитавшійся за границею мыслитель, чуждый православныхъ обычновеній, котораго весь домашній строй жизни былъ по необходимости иностранній; она, при всемъ своемъ французскомъ языке, простая, русская православная женщина.. Не думая, не гадая ни о какомъ вразумленіи и вліяніи, слѣдя только обычаю и влечению сердца, она относится къ европейскому умнику, какъ бывало къ ребенку Феденьку, — и зреілый, почти уже старый сынъ ея съ умиленіемъ поддается ея материнскимъ требованіямъ, понимая и цѣня ихъ бла-
гое значеніе.

Въ 1843 году Тютчевъ пріѣзжалъ изъ Мюнхена въ Москву для свиданія съ родными, которыхъ не видѣлъ слишкомъ пять лѣтъ; на возвратномъ пути за границу онъ остановился въ Петербургѣ, и въ письмѣ къ своей женѣ, еще не бывавшѣй въ Россіи, такъ раз-
сказываетъ свое прощеніе съ семьей и Москвою:

«...Toute ma famille m'a accompagné jusqu'au bureau des diligences, et l'apparition de ma mère dans un pareil endroit était un fait sans précédent et sans analogue dans sa vie. Je n'ai pas besoin de te dire, que dans la matinée du jour de mon départ, qui était un dimanche, il y a eu après la messe le Te Deum obligé, suivi d'une visite dans une des chapelles les plus révérées de Moscou, où se trouve une image miraculeuse de la S-te Virge d'Ibérie. En un mot tout s'est passé dans les formes de la plus stricte orthodoxie... Eh bien, pour qui ne s'y associe qu'en passant, pour qui peut en prendre à son aise, il y a dans ces formes si profondément historiques, il y a dans ce monde russe-byzantin, où la vie et le culte ne font qu'un, et si vieux, que Rome elle-même, comparée a lui, sent quelque peu l'innovation,— il y a dans tout cela, pour qui a l'instinct de ces choses, une grandeur de poésie incomparable, une grandeur telle, qu'elle subjugue l'inimitié

la plus acharnée... Car au sentiment de ce passé déjà si vieux, vient fatalement s'associer le pressentiment d'un avenir incommensurable»...¹⁾

Другое письмо къ ней же отъ 11 сентября 1858 года, когда Тютчеву было почти 55 лѣтъ: «...J'ai encore une fois pris congé de ma mère; j'ai encore une fois fait les trois saluts en terre à côté d'elle devant sa Vierge de Cazan, encore une fois, en m'en allant de sa chambre, appuyé mon dernier regard sur elle, en l'accompagnant du même pressentiment parfaitement naturel», etc.²⁾.

Въ 1822 году, когда Тютчевъ переселился на житѣе въ Мюнхенъ, политическое значеніе этого города было иное, нежели теперь. Священный Союзъ былъ въполномъ ходу, и частные конгрессы придавали ему еще болѣе дѣйствительной силы. Только семь лѣтъ прошло по умиротворенію Европы. Россія была въ апогѣе величія и славы, и второстепенные германскіе дворы видѣли въ ней оплотъ своей автономіи противъ посагательства Габсбурговъ и Гогенцоллерновъ. Во главѣ этихъ второстепенныхъ державъ, составлявшихъ въ федеративномъ германскомъ устройствѣ колективный противовѣсь Австріи и Пруссіи, стояла Баварія, какъ самая крупная, и поэтому играла нѣкоторую политическую роль. Дипломатическая миссія въ Мюнхенѣ не считалась еще тогда, со стороны кабинетовъ, исполненіемъ только приличій междудержавнаго этикета. Дипломатическій корпусъ въ Мюнхенѣ въ тѣ годы былъ многочисленный, и Баварскій царствующій домъ старался придать юному королевству, пожалованному въ это званіе лишь недавно, благодаря Наполеону и ловкости курфюрста Макса-Госифа, всевозможный блескъ и значеніе. Съ восшествіемъ на престолъ въ 1825 году Людвига I началось то, преисполненное ученыхъ претензій, пересозданіе Мюнхена въ нѣмецкія Аѳины, которое, не претворивъ нѣмцевъ въ эллиновъ, стало однако вскорѣ привлекать множество путешествен-

¹⁾ «... Все семейство проводило меня до конторы дилижансовъ, и появленіе моей матери въ такомъ мѣстѣ было дѣломъ небывалымъ, не имѣвшимъ себѣ ничего подобнаго въ ея жизни. Нужно ли тебѣ разсказывать, что въ день моего отѣзда, который пришелся въ воскресенье, была обѣдня, а послѣ обѣдни неизбѣжный молебень, затѣмъ посѣщеніе одной изъ самыхъ чтимыхъ въ Москвѣ часовенъ, гдѣ находится чудотворная икона Иверской Божіей Матери. Однимъ словомъ, все произошло согласно съ порядками самаго взыскательного православія... Ну что же? Для человѣка, который пріобщается къ нимъ только мимоходомъ и въ мѣру своего удобства, есть въ этихъ формахъ, такъ глубоко историческихъ, въ этомъ мірѣ византійско-русскомъ, гдѣ жизнь и вѣросложеніе составляютъ одно,— въ этомъ мірѣ столь древнемъ, что даже Римъ, въ сравненіи съ нимъ, пахнетъ новизною, есть во всемъ этомъ для человѣка, снабженаго чутьемъ для подобныхъ явленій, величие поэзіи необычайное, такое величіе, что оно преодолѣваетъ самую яркую враждебность... Ибо къ ощущенію прошлаго, — и такого уже старого прошлаго, — присоединяется невольно, какъ бы предопределѣніемъ судьбы, предчувствіе неизмѣримаго будущаго...

²⁾ «... Я еще разъ простился съ моей матерью, еще разъ положилъ, рядомъ съ нею, три земныхъ поклона предъ ея Казанской Божіей Матерью; еще разъ, уходя изъ ея комнаты, оглянувшись на постѣдній взглядомъ, съ тѣмъ же, какъ и прежде, предчувствіемъ, — совершенно естественнымъ» и пр.

никовъ — собраніями образцовъ искусства, музеями, пинакотеками, глиптотеками и разнообразными зданіями-моделями. Щедрость короля сгруппировала въ Мюнхенѣ не мало знаменитыхъ художниковъ и ученыхъ; въ числѣ послѣднихъ были Окенъ и Шеллингъ, которыми и украсился вновь открытый Мюнхенскій университетъ.

Въ 1825 году Тютчевъ прѣѣжалъ на короткое время въ отпускъ въ Москву, къ своимъ родителямъ; въ 1826 году, 23 лѣтъ отъ роду, онъ женился въ Мюнхенѣ на милой, граціозной, умной, нѣсколько старшой его, вдовѣ нашего бывшаго министра при одномъ изъ второстепенныхъ германскихъ дворовъ, Петерсона. Урожденная графиня Ботмеръ, она происходила по матери изъ рода Гонштейнъ. Такимъ образомъ Тютчевъ породнился разомъ съ двумя старыми аристократическими фамиліями Баваріи и попалъ въ цѣлый сонмъ нѣмцевъ-родственниковъ. Впрочемъ, послѣдніе мало были способны уразумѣть Тютчева и вообще симпатизировать съ его оригинальною и уже вовсе не нѣмецкою природою. Зато скромная гостиная Тютчевыхъ въ Мюнхенѣ, при общительномъ характерѣ прелестной хозяйки, стала вскорѣ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ даровитыхъ и вообще замѣчательныхъ людей въ городѣ; особенно часто посѣщалъ ее поэтъ Гейне. Съ особеннымъ сочувствіемъ упоминаютъ также о Тютчевыхъ, мужѣ и женѣ, Кирѣевскіе (Петръ и Иванъ Васильевичи) въ письмахъ своихъ въ Москву, къ матери, отъ 1830 года, изъ Мюнхена, гдѣ оба брата слушали лекціи Шеллинга. Отъ этого брака Федоръ Ивановичъ имѣлъ трехъ дочерей. Сохранившаяся отъ того времени домашняя переписка свидѣтельствуетъ, что Тютчевы, оба плохие хозяева, при немалой уже семье и при своемъ общественномъ положеніи, часто были озабочиваемы и затрудняемы недостаткомъ денежнѣхъ средствъ.

Въ 1830 году Тютчевъ возилъ свою жену въ Петербургъ, знакомить съ ея русскими родными. Въ 1833 году онъ былъ, по собственной охотѣ отправленъ «курьеромъ» съ дипломатическимъ порученіемъ на Іоническіе острова. Въ концѣ 1837 года, уже камергеръ и статскій совѣтникъ, онъ былъ повышенъ по службѣ, именно назначенъ старшимъ секретаремъ посольства въ Туринѣ, — что было, впрочемъ, не совсѣмъ согласно съ его желаніемъ: онъ надѣялся получить мѣсто въ Вѣнѣ. Прежде чѣмъ отправиться на свой новый постъ, онъ снова привезъ жену и дѣтей въ Петербургъ, гдѣ и оставилъ ее, при своихъ родныхъ, на всю зиму, а самъ вскорѣ уѣхалъ опять въ Мюнхенъ и оттуда въ Туринѣ. Пробывъ зиму въ Петербургѣ, жена съ дѣтьми возвратилась весною къ мужу, но осенью того же года скончалась въ Туринѣ.

Въ 1839 году Тютчевъ женился снова, на вдовѣ баронессы Дѣрнгеймъ, женщинѣ замѣчательной красоты и ума, урожденной баронессы Пфеффель, — впрочемъ изъ семейства болѣе французскаго, чѣмъ нѣмецкаго, происхожденіемъ изъ Альзаса. Тютчевъ не долго оставался въ столицѣ Піемонта, гдѣ къ тому же очень скучалъ и

гдѣ тогда не было почти никакой политической и общественной жизни. Исправляя, за отсутствием посланника, должность повѣреннаго въ дѣлахъ и видя, что дѣлъ собственно не было никакихъ, нашъ поэтъ, въ одинъ прекрасный день, имѣя неотложную надобность сѣѣздить на короткій срокъ въ Швейцарію, заперъ дверь посольства и отлучился изъ Туринга, не испросивъ себѣ формального разрѣшенія. Но эта самовольная отлучка не прошла ему даромъ. О ней узнали въ Петербургѣ, и ему повелѣно было оставить службу, при чёмъ сняли съ него и званіе камергера... Тютчевъ, однако, не поѣхалъ въ Россію, а переселился опять въ знакомый, почти родной ему Мюнхенъ, въ ожиданіи пока въ Петербургѣ разъяснится недоразумѣніе и примирятся съ оригиналью выходкою дипломата-поэта.

Съ 1840 года Тютчевъ зажилъ въ Мюнхенѣ прежнею жизнью, усердно посѣщая общество и самъ не менѣе ревностно посѣщаемый. Многіе изъ иностранныхъ дипломатовъ, бывшихъ въ ту пору въ Мюнхенѣ, до сихъ поръ хранятъ въ памяти часы, проведенные въ его домѣ.

Въ 1843 году Тютчевъ пріѣзжалъ изъ Мюнхена въ Москву и въ Петербургъ, чтобы предварительно подготовить свое перемѣщеніе въ Россію и устроить дѣло по службѣ. Въ этотъ пріѣздъ онъ особенно сопелся съ княземъ П. А. Вяземскимъ и вообще принять былъ въ петербургскомъ высшемъ свѣтѣ, какъ лицо, уже замѣченное въ Европѣ, уже извѣстное остротою мысли и слова. Объ этомъ пріемѣ, вѣроятно, не похожемъ на прежніе, и о дружескомъ вниманіи князя Вяземскаго онъ самъ съ благодарностью отзыается въ письмахъ къ женѣ; пишетъ о томъ же и отцу съ матерью, которые, кажется, были очень озабочены общественнымъ положеніемъ своего сына и нетерпѣливо желали, чтобы скорѣе снята была опала, тяготѣвшая надъ нимъ за самовольную отлучку изъ Туринга.

Лѣтомъ 1844 г. Тютчевъ, съ женой и съ дѣтьми, окончательно водворяется въ Россіи, и именно въ Петербургѣ, изрѣдка совершая поѣздки за границу и ежегодно въ Москву... *Аксаковъ.*

Духовная атмосфера въ Россіи времени возвращенія на родину Тютчева.

Ѳ. И. Тютчевъ, оставивши Россію въ юношескомъ возрастѣ, съ умомъ, открытымъ для новыхъ впечатлѣній жизни, но съ извѣстнымъ нравственнымъ фондомъ, вынесеннымъ изъ пѣдэрь патріархальной семейной среды, вернулся въ отечество уже въ болѣе чѣмъ зрѣлые годы жизни, съ совершенно сложившейся духовной организацией. Эта организація вмѣщала въ себя, съ одной стороны, плоды самаго тѣснаго и живого соприкосновенія съ иноземной культурой въ высшихъ, индивидуальныхъ и общественныхъ формахъ ея проявленія,

а съ другой — глубокую симпатію къ Россіи, ея простому народу, ея исторической судьбѣ, кореннымъ ея моральнымъ и политическимъ идеаламъ. Тютчевъ въ эту пору совмѣщалъ въ себѣ образчикъ высоко образованного европейца и вмѣстѣ съ тѣмъ убѣжденнаго носителя своеобразныхъ, совершенно русскихъ вѣрованій и идеаловъ. Къ тому же онъ былъ въ это время не безызвѣстнымъ въ Россіи поэтомъ, а передъ самымъ переселеніемъ въ Россію, изданной въ 1844 г. брошюрою «*Lettre à M. le d-r Gustave Kolb, rédacteur de Gazette Universelle*» выступилъ и въ качествѣ политического писателя, съ широкими горизонтами и оригинальнымъ взглядомъ на міровое политическое положеніе Россіи. При всемъ своемъ европеизмѣ, Тютчевъ, послѣ столькихъ лѣтъ жизни за границей, несомнѣнно тяготился дальнѣйшимъ пребываніемъ въ родинѣ, безъ опредѣленныхъ служебныхъ и общественныхъ обязанностей, безъ связи и участія въ той внутренней культурной работѣ, которая въ ту пору совершилась тогда въ Россіи, несмотря на продолжавшійся вицѣній гнетъ правительственной власти. Къ самому дѣлѣ, между Россіей, которую покинулъ Тютчевъ, въ 1822 году и Россіей 1844 года была огромная разница. Продолжавшіяся отголоски Отечественной войны, событія 14 декабря 1825 г., успѣхи науки (Карамзинъ) и особенно литературы (Пушкинъ, Гоголь, Бѣлинскій), усиленная переработка общественныхъ и политическихъ идеаловъ въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ (западники — какъ Чаадаевъ, славянофилы — какъ Хомяковъ, Кирѣевскіе, К. Аксаковъ) — все это усложняло и расширяло культурные условия жизни въ Россіи, окрыляло молодое поколѣніе къ дѣятельности, питало надежду на пробужденіе Россіи отъ духовнаго сна и удивительнымъ образомъ содѣйствовало оживленію русского общества; жизнь въ интеллигентныхъ кругахъ въ Россіи была въ эту пору напряженной и интересной.

Однако, явившись въ Россію, Тютчевъ не сталъ въ ряды передовыхъ дѣятелей ея поступательного движенія, не принялъ энергического участія въ той созидательной общественной работѣ, которая подготовила эпоху начальныхъ лѣтъ царствованія Александра II; онъ ограничился службой и литературой.

Занятія Тютчева на родинѣ.

Дѣло по службѣ скоро уладилось: Тютчеву были возвращены всѣ служебныя права и почетныя званія, и повелѣно было состоять по особымъ порученіямъ при государственномъ канцлерѣ. Вообще, появленіе его въ петербургскомъ свѣтѣ сопровождалось блестящимъ успѣхомъ. Онъ сразу занялъ въ обществѣ то особенное, видное положеніе, которое удерживалъ потомъ до самой своей кончины и на которое давали ему такое право его образованность, его умъ и таланты. Предъ нимъ открылись настежь всѣ двери — и дворцовъ, и

аристократическихъ салоновъ, и скромныхъ литературныхъ гостиныхъ: всѣ наперерывъ желали залучить къ себѣ этого русскаго выходца изъ Европы, этого пріятнаго собесѣдника, привлекавшаго къ себѣ общее вниманіе оригинальною грацію всего своего вѣнчанаго и духовнаго существа, самостоятельностью своей мысли, сверкающею остротою своихъ импровизованныхъ рѣчей. Онъ самъ, въ письмахъ къ отцу и матери, свидѣтельствуетъ о радушномъ приемѣ, ему оказанномъ, объясняя, впрочемъ, это радушіе, съ привычно ему скромностью, свойствами русскаго національнаго характера.

Въ 1857 году Тютчевъ занялъ мѣсто предсѣдателя санктпетербургскаго Комитета иностранной цензуры, оставаясь въ то же время въ вѣдомствѣ Иностранныхъ Дѣлъ. Его просвѣщенное, разумно-либеральное предсѣдательство въ этомъ Комитетѣ, нерѣдко расходившееся съ нашимъ административнымъ міровоззрѣніемъ, а потомъ подъ конецъ и ограниченное въ своихъ правахъ, памятно всѣмъ, кому было дорого живое общеніе съ европейскою литературую. Въ этой должности онъ и состоялъ до самой своей кончины, послѣдовавшей 15 іюля 1873 года, въ Царскомъ Селѣ.

И. Аксаковъ.

Тютчевъ — поэтъ — художникъ, мыслитель и поэтическій борецъ.

15 іюля 1898 года исполнилось двадцатипятилѣтіе со дня кончины Є. И. Тютчева, и наступленіе этого первого юбилейнаго срока, какъ водится, подало поводъ къ появлению на страницахъ повременныхъ изданій болѣе или менѣе бѣглыхъ замѣтокъ, посвященныхъ памяти поэта. Старинное изрѣченіе «habent sua fata libelli» справедливо по отношенію не только къ отдельнымъ литературнымъ произведеніямъ: оно приложимо нерѣдко и къ дѣятельности писателя, взятой въ цѣломъ. На долю Тютчева выпала жизнь болѣе долгая, чѣмъ какая является среднимъ удѣломъ большинства русскихъ литераторовъ; если онъ въ теченіе семидесятилѣтняго жизненнаго пути написалъ очень немногого по количеству и еще менѣе по объему, то это еще, конечно, не должно удивлять настѣ: русскіе поэты вообще рѣдко отличаются значительной продуктивностью, да и самый характеръ исключительно лирическаго таланта Тютчева ограничилъ сферу его дѣятельности одними мелкими стихотвореніями. Но именно своеобразный рокъ тяготѣлъ и, пожалуй, продолжаетъ тяготѣть и теперь надъ этою поэтическою дѣятельностью, продолжавшеюся съ перерывами въ теченіе почти полустолѣтія, начиная съ двадцатыхъ годовъ доживающаго свои послѣдніе дни вѣка. Появляясь разбросанно въ разныхъ альманахахъ и журналахъ, первые опыты Тютчева проходили почти незамѣченными; затѣмъ, послѣ шести лѣтней паузы, съ 1836 года

онъ начинаетъ вновь печатать свои стихотворенія на страницахъ основанаго Пушкинъмъ «Современника», но и эта серія произведеній Тютчева, скрывавшаго свое имя подъ инициалами *Ө. Т.* (или, самое большое, *Ө. Т.—ss.*), обратила на себя, повидимому, не болѣе вниманія со стороны публики, по крайней мѣрѣ, не удостоилась ни одного критического отзыва, и уже послѣ 1840 года печатаніе этихъ стихотвореній, «присланныхъ изъ Германіи», — какъ гласилъ ихъ общій заголовокъ, — прекращается вторично и надолго. И однако эти самыя стихотворенія, спустя еще десятилѣтіе, были оцѣнены Некрасовымъ въ его статьѣ *Русские второстепенные поэты* (*«Современникъ»*, 1850, № 1, отд. VI, стран. 56), при чёмъ критикъ призналъ въ произведеніяхъ анонимнаго автора столько «оригинальности мысли и прелести изложенія», что, казалось, написать ихъ могъ только самъ основатель журнала, въ которомъ они помѣщались. Такимъ образомъ поэтъ, писавшій и печатавшій уже почти четверть вѣка, дождался, наконецъ, лестной оцѣнки; за нимъ былъ признанъ «истинный и прекрасный талантъ, нерѣдко самобытный, всегда граціозный, исполненный мысли и неподдѣльного чувства», талантъ, который могъ бы доставить своему обладателю, — если бы онъ писалъ болѣе, — «одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ въ русской поэзіи» (*ibid.*). И все-таки, несмотря на этотъ компетентный отзывъ, понадобились еще четыре года для того, чтобы критика слилась въ общемъ хорѣ похвалъ *тѣмъ самимъ* стихотвореніямъ, на которыхъ раньше не обращала вниманія. Только теперь, въ 1854 году, публика получила возможность познакомиться съ Тютчевымъ въ цѣломъ видѣ, — когда его стихотворенія (всего 96 пьесъ) были отпечатаны въ видѣ прибавленія къ третьей книжкѣ *«Современника»*, и затѣмъ въ томъ же году появились отдѣльною книжкою, въ которую вошли всѣ пьесы Тютчева, собранныя редакціею того же журнала изъ изданій болѣе раннихъ годовъ. Какъ за четыре года передъ тѣмъ Некрасовъ оцѣнилъ талантъ уже не новаго, но мало извѣстнаго поэта, такъ теперь Тургеневъ посвятилъ ему цѣлую статью (*Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ө. И. Тютчева*, четвертая книжка *«Современника»* за 1854 годъ), въ которой называлъ его «однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, завѣщанныхъ намъ привѣтомъ и одобрениемъ Пушкина», даже болѣе, — заявилъ, что Тютчевъ, «принадлежащий къ поколѣнію предыдущему, стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ (новѣйшихъ) собратовъ по Аполлону», что на немъ одномъ «лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ относится, и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ: въ немъ одномъ замѣчается та соразмѣрность таланта съ самимъ собою, та соотвѣтственность его съ жизнью автора,—словомъ, хоть часть того, что въ полномъ развитіи своемъ составляетъ отличительные признаки всякихъ дарованій». Признавая, что кругъ Тютчева не обширенъ, что въ его талантѣ нѣть другихъ элементовъ, кроме чисто лирическихъ, Тургеневъ указываетъ, что зато въ своемъ кругу Тютчевъ находится дома, что его стихи (самые короткіе — почти всегда самые удачные) не сочинены,

не придуманы, а вся кажутся написанными на извѣстный случай, какъ того хотѣлъ Гете, и въ этомъ «драгоцѣнномъ качествѣ» критикъ еще разъ видитъ вліяніе Пушкина, отблескъ его времени.

Такимъ образомъ было увѣнчано лаврами почти тридцатилѣтнее поэтическое служеніе Тютчева и съ этого времени уже не прерывалось, хотя и не сдѣлалось болѣе интенсивнымъ, чѣмъ прежде. Имя поэта приобрѣло извѣстность, но прежній фатумъ сказался вновь: имя поэта извѣстно русскому обществу болѣе, чѣмъ его поэзія. Позднѣйшія произведенія Тютчева, если и не раздѣлили участія прежнихъ его опытовъ, то, во всякомъ случаѣ, не привлекли къ себѣ такого вниманія, какого можно было бы ожидать послѣ приведенныхъ выше лестныхъ отзывовъ. Интересъ, возбужденный въ 1854 году, затѣмъ вновь остылъ и отвлекся въ сторону другихъ литературныхъ явленій, чemu содѣйствовалъ и самый характеръ наступившей новой эпохи въ жизни русского общества со второй половины пятидесятыхъ годовъ. Самая кончина престарѣлаго поэта не прошла, конечно, не отмѣченнаю въ текущей журналистикѣ (напоминаемъ прежде всего подробную біографію и оцѣнку Тютчева, написанную И. С. Аксаковымъ, помѣщенную въ «Русскомъ Архивѣ» 1874 года), но и не произвела сильнаго впечатлѣнія, и по прошествії цѣлаго двадцатилѣтія В. С. Соловьевъ нашелъ своевременнымъ вновь познакомить русскую читающую публику съ Тютчевымъ (статья въ «Вѣстникѣ Европы» 1895 года), при чѣмъ вполнѣ справедливо замѣтилъ, что у громаднаго большинства этой публики съ именемъ Тютчева не связывается почти никакого опредѣленного представленія, и что наиболѣе памятливые читатели обыкновенно оказываются въ состояніи припомнить какія-нибудь два-три его стихотворенія, помѣщаемыя по традиціи въ любой хрестоматіи, — чадце всего, пожалуй, «Весеннія воды» («Еще въ поляхъ бѣлѣтъ снѣгъ») и «Весеннюю грозу» («Люблю грозу въ началѣ мая»). И наступившее двадцатипятилѣтіе со дня смерти поэта прошло бы совершенно незамѣченнымъ, если бы о немъ не напомнили газеты, по обязанности отмѣчающія всяkie юбилейные сроки и въ силу этого помѣстившія на своихъ столбцахъ болѣе или менѣе бѣглныя замѣтки, посвященные памяти Тютчева. Попытаемся же остановить хоть на короткое время вниманіе мыслящихъ людей на литературномъ фактѣ, несомнѣнно заслуживающемъ вниманія, и сдѣлаемъ, что въ нашихъ силахъ, для освѣщенія, хотя бы частичнаго, личности поэта, уже далеко отстоящаго отъ современныхъ поколѣній. Если задаться вопросомъ о причинахъ малой популярности Тютчевской поэзіи, то отвѣтъ на этотъ вопросъ распадается на нѣсколько частей. Прежде всего объясненія указаннаго факта приходится искать въ самомъ характерѣ этой поэзіи: коротенькая лирическія стихотворенія въ массѣ случаевъ быстро улетучиваются изъ памяти читателя, знакомящагося съ ними порознь, и лишь сравнительно рѣдко оставляютъ по себѣ прочное впечатлѣніе; для прочтенія же подъ рядъ многихъ, собранныхъ въ одну книгу исключительно ли-

рическихъ изліяній обыкновенно нехватаетъ терпѣнія у средняго читателя, мало расположеннаго вникать и изучать творчество поэта, взятое въ цѣломъ. Если такое чтеніе однообразныхъ по формѣ произведеній вызоветъ въ душѣ человѣка впечатлѣніе монотонности также и по содержанию, такой выводъ, — нерѣдко поспѣшный и несправедливый, являющійся результатомъ лишь поверхностнаго просмотра, — будетъ столь же мало благопріятенъ для писателя, какъ и противоположный случай: разнообразіе, пестрота содержанія затрудняетъ на первый разъ ознакомленіе съ личностью поэта, мѣшаеть цѣльности впечатлѣнія, дробить вниманіе и способствуетъ быстрѣйшему смѣшенію и забвенію прочитаннаго. Отъ такого исхода весьма часто не спасаетъ и восхищеніе, ощущаемое при первомъ мимолетномъ чтеніи поэтическаго произведенія, и едва ли кто станетъ оспаривать, что даже слава Пушкина или Лермонтова была бы сравнительно мало обеспечена, если бы ей было суждено основываться на одной лирикѣ, если бы не было налицо болѣе крупныхъ произведеній эпическихъ или драматическихъ, воздѣйствующихъ съ большою силой, врѣзывающихся гораздо прочнѣе въ память читателя. Самое распределеніе лирическаго материала въ печатномъ изданіи представляеть известныя затрудненія: строго хронологическій распорядокъ, дающій болѣе возможности прослѣдить постепенное развитіе таланта и настроенія поэта, нерѣдко въ то же время подавляетъ разнообразіемъ мотивовъ, тогда какъ расположение по отдельамъ можетъ повлечь за собою другую указанную выше опасность, т.-е. утомить однообразіемъ тона и содержанія, — не говоря уже о томъ, съ какимъ трудомъ лирика поддается такой систематизації, сколько послѣдняя можетъ заключать въ себѣ произвольнаго и натянутаго.

Далѣе, популярность лирической поэзіи обратно пропорціональна той степени вниманія, углубленія, какая требуется отъ читателя для вполнѣ сознательнаго отношенія къ поэтическому произведенію и, следовательно, для оцѣнки его по достоинству. Лирическое стихотвореніе усвоивается тѣмъ легче, чѣмъ общедоступнѣе выражаемое имъ субъективное настроеніе, и чѣмъ ярче прелестъ его художественной отдельки. Смотря съ этой точки зрѣнія на поэзію Тютчева, мы отчасти поймемъ причину ея малой распространенности въ обществѣ: передъ нами, несомнѣнно, поэтъ-художникъ, но въ то же время и еще болѣе поэтъ-мыслитель, съ пантеистическимъ оттенкомъ въ міросозерцаніи, выразитель тонкихъ, трудно уловимыхъ ощущеній, воспринимаемыхъ человѣческою душою отъ живой природы, поэтъ-психологъ, могущій быть оцѣненнымъ лишь подъ условiemъ очень вдумчиваго чтенія и даже неоднократного перечитыванія. Художественность формы отступаетъ на второй планъ передъ глубиною содержанія; слово порою оказывается даже безсильнымъ для выраженія того, что смутно волнуетъ и наполняетъ душу, что поддается уловленію даже самого ощущающаго субъекта лишь при наличности особой чуткости къ психическимъ движеніямъ и почти не поддается словесной формулировкѣ,

понятной для ви́шняго міра. Кристальная ясность содержанія и пластичность образовъ не могутъ быть постояннымъ удѣломъ такой поэзіи, зреющей въ душевной глубинѣ, для которой наиболѣе краснорѣчивымъ выраженіемъ является молчаніе:

«Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пускай въ душевной глубинѣ
И веходять и зайдутъ онѣ,
Какъ звѣзды ясныя въ ночи:
Любуйся ими и молчи!
Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ чѣмъ ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.
Взыавая, возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи!
Лишь жить въ самомъ себѣ умѣй:
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
Таинственно волшебныхъ думъ;
Ихъ заглушить наружный шумъ,
Дневные осѣпнать лучи:
Внимай ихъ пѣнью и молчи!» (*Silentium*).

Такова характерная поэтическая исповѣдь Тютчева. Вполнѣ естественно, что при такихъ условіяхъ ви́шняя форма стихотворенія часто не въ состояніи выразить его содержанія, является иногда блѣдною, туманною, порою даже отчасти небрежною или прибѣгаетъ къ нѣсколько рискованнымъ поэтическимъ оборотамъ. Такая поэзія много говорить уму и сердцу вдумчиваго и чуткаго цѣнителя, но она наполовину нѣма для средняго, разсѣяннаго, не любящаго сосредоточиваться читателя.

Однако, эта поэзія тонкихъ, часто неуловимыхъ душевныхъ ощущеній далеко не чужда общественныхъ, говоря еще точнѣе, — національно-политическихъ мотивовъ, болѣе доступныхъ пониманію большої публики и способныхъ волновать и даже раздражать въ зависимости отъ тяготѣнія человѣка къ тому или иному общественному настроенію. Въ изданіи стихотвореній Тютчева (1886 г.) отдѣль, озаглавленный «Исторія-Политика», занимаетъ приблизительно третью часть всей книжки и, какъ мы еще увидимъ, можетъ-быть, пожалуй, нѣсколько пополненъ изъ другихъ отдѣловъ того же изданія.

Стихотворенія этого отдѣла, расположенные въ хронологическомъ порядкѣ (по отношенію къ историческимъ эпохамъ, не пережитымъ самимъ поэтомъ, — въ порядкѣ самихъ эпохъ, но не времени написанія того или другого произведенія), охватываютъ событія цѣлаго ряда десятилѣтій, начиная отъ середины 20-хъ годовъ (восходя даже къ болѣе раннѣму времени, къ вѣку Наполеона) и продолжаясь не-прерывно цѣпью до конца 60-хъ годовъ. Получается такимъ образомъ довольно послѣдовательная поэтическая лѣтопись, очень интересная и поучительная въ смыслѣ ознакомленія съ постепеннымъ развитиемъ одной важной стороны міросозерцанія поэта, его общественно-политическихъ идеаловъ и симпатій. Нужно, однако, сознаться, что затрагиваемые Тютчевымъ въ его политическихъ стихотвореніяхъ мотивы не отличаются особымъ разнообразiemъ и, нося достаточную яркую окраску въ духѣ опредѣленной политической доктрины, этою именно односторонностью осуждаютъ себя на болѣе или менѣе равнодушное отношение къ нимъ со стороны приверженцевъ иныхъ лагерей. Это въ большинствѣ случаевъ стихотворенія партійныя, напи-

санная подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ текущихъ событій, проникнутыя духомъ борьбы и въ то же время сравнительно мало задѣвающія — въ иныхъ случаяхъ — непосредственные интересы русской народной массы. Этюю стороною своей поэтической дѣятельности Тютчевъ, следовательно, также принадлежитъ скорѣе извѣстному кругу, — на этотъ разъ кругу сочувствующихъ единомышленниковъ, — чѣмъ обширнымъ слоямъ читающего люда. Чистый художникъ-мыслитель и политической борецъ, Тютчевъ одинаково можетъ быть излюбленнымъ поэтомъ лишь для немногихъ.

На только что указанной второй сторонѣ поэзіи Тютчева мы и намѣрены сосредоточить наше вниманіе, — разсмотрѣть, въ какую форму отлились общественные взгляды поэта, почти сверстника Пушкина, воспитавшагося подъ вліяніемъ традицій его чистаго художества и дожившаго до треволненій позднѣйшихъ эпохъ.

Центральнымъ пунктомъ въ политической поэзіи Тютчева является идея славянскаго единенія; въ виду этого факта прежде всего интересно прослѣдить отношеніе поэта къ западно-европейскому миру и уяснить его взглядъ на мировую роль его отечества, на взаимное отношеніе между Русью и Западомъ. Послѣдній былъ достаточно хорошо извѣстенъ Тютчеву по непосредственному знакомству и оставилъ весьма осознательные слѣды въ его произведеніяхъ, давъ немалую пищу для его поэтическихъ вдохновеній. Но здѣсь намъ приходится отмѣтить то же явленіе, на какое мы указывали, говоря о поэзіи Майкова: поэтъ въ данномъ случаѣ раздвоется на художника и мыслителя и упивается, именно какъ поклонникъ красоты, роскошью чудной природы, ея тепломъ и свѣтомъ (у Майкова сюда присоединяется еще характерное для его музы тяготѣніе къ античному миру, въ гораздо слабѣйшей степени замѣтное у Тютчева), не перенося въ то же время своихъ симпатій на формы общественной жизни и складъ идей, направляющихъ ходъ послѣдней.

Если имѣть въ виду одни только стихотворенія Тютчева, лишенныя политической окраски, онъ намъ представится космополитомъ, котораго отнюдь не тянетъ къ родной почвѣ, который ощущаетъ себя дома повсюду, находясь лицомъ къ лицу съ природою, — даже болѣе того: передъ нами страстный обожатель «блаженного» юга, рвущійся туда съ холоднаго сѣвера, какъ на родину съ чужбины, куда его случайно занесла судьба.

«Глядѣль я, стоя надъ Невой,
Какъ Исаака великана
Во мглѣ морознаго тумана
Свѣтился куполь золотой.
Всходили робко облака
На небо зимнее, ночное;
Бѣлѣла въ мертвенномуѣ покоѣ
Оледенѣлая рѣка.
Я вспомнилъ, грустно молчаливъ,
Какъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ солнце

грѣетъ,

Теперь на солнцѣ пламенѣТЬ
Роскошный Генуи заливъ...
О Сѣверъ, Сѣверъ-чародѣй!
Иль я тобою околдованъ?
Иль въ самомъ дѣлѣ я прикованъ
Къ гранитной полосѣ твоей?
О, если бъ мимолетный духъ,
Во мглѣ вечерней тихо вѣя,
Меня унесъ скорѣй, скорѣй
Туда, туда, на теплый Югъ!»

Какъ «растворенный Эдемъ», представляется этотъ «золотой, свѣтлый» Югъ очамъ поэта въ сравненіи съ роднымъ «царствомъ-вьюги», со «свинцовымъ небосклономъ» Сѣвера, гдѣ —

«...воздухъ колеть, снѣгъ обильный
На высотахъ и въ глубинѣ,
И холодъ, чародѣй всесильный,
Одинъ господствуетъ вполнѣ».

(«Давно ль, давно ль, о Югъ блаженный»).

«Сонный хладъ Киммерийской грустной ночи», — такъ характеризуетъ Тютчевъ родную, но чуждую его сердцу природу, переносясь силомъ воображенія въ иной, *родимый* край, — родимый для всякой поэтической души, — представляющійся ему потеряннымъ раемъ:

«Лавровъ стройныхъ колыханье
Зыблетъ воздухъ голубой;
Моря тихое дыханье
Провѣваетъ лѣтній зной.
Цѣлый день тамъ солнце грѣеть
Золотистый виноградъ;
Баснословной пылью вѣеть
Изъ-подъ мраморныхъ аркадъ.

Сновидѣньемъ безобразнымъ
Скрылся Сѣверъ роковой;
Сводомъ легкимъ и прекраснымъ
Свѣтить небо надо мной.
Снова жадными очами
Свѣть живительный я пью
И подъ чистыми лучами
Край волшебный узнаю».

(«Вновь твои я вижу очи»).

Не желая утомлять читателей дальнѣйшими длинными цитатами, отмѣтимъ для полноты иллюстраціи еще такія стихотворенія, какъ «Дорога изъ Кенигсберга въ Петербургъ», — рисующее картину родного ландшафта «подъ дымчатымъ навѣсомъ огромной тучи снѣгової», — «Грустный видъ и грустный часъ!», «Въ дорогѣ», «И такъ опять увидѣлся я съ вами, мѣста не милыя, хоть и родныя»: во всѣхъ этихъ пьесахъ родина поэта представляется въ видѣ безлюднаго края, «не бывшаго родимымъ для его души», гдѣ нѣтъ ни звуковъ, ни красокъ, ни движенья, гдѣ небесный сводъ вяло глядитъ на тощую землю, усталая природа спитъ, погрузившись въ желѣзный сонъ, и только блѣдныя березы, мелкій кустарникъ, сѣдой мохъ кое-гдѣ смущаютъ мертвенный покой, подобно лихорадочнымъ грезамъ, гдѣ мѣсяцъ свѣтить какъ гробовой призракъ изъ тумана, — словомъ, гдѣ нѣтъ жизни, — и воображеніе то и дѣло уносить поэта изъ этого царства тѣней въ «чудные» края, гдѣ «радужныя горы въ лазурныхъ глядятся озера», гдѣ «тотъ же мѣсяцъ, но живой, дышитъ въ зеркаль Лемана», въ тотъ край, гдѣ «нѣтъ теперь ужъ нась», вслѣдствіе чего лучше и не вспоминать о немъ, чтобы не усиливать и безъ того гнетущей тоски.

Разумѣется, указанными заявленіями еще не решается всецѣло вопросъ объ отношеніи Тютчева къ родной русской природѣ: какъ натура истинно поэтическая, онъ умѣлъ вездѣ подмѣтать красоту и воплощать ее въ образы. Прочтемъ на выдержку такія его пьесы,

какъ, напримѣръ «Какое лѣто, что за лѣто!», «Тихо въ озерѣ струится», «Гроза дорогой», «Тихой ночью позднимъ лѣтомъ», «Какъ весель грохотъ лѣтнихъ бурь», «Листья», «Есть въ осени первоначальной», «Небо блѣдно-голубое», «Осенний вечеръ», «Обвѣянъ вѣщею дремотой», «Осенней позднею порою», «Зима не даромъ злится», «Еще земли печаленъ видѣй», «Весеннія воды», «Первый листъ» и пр. и пр., — и мы убѣдимся въ томъ многообразіи вдохновеній, какимъ дарила поэта не только вѣчно юная весна, но и осенне увяданіе блѣдной сѣверной природы,—менѣе всего, однако, русская зима, въ чемъ Тютчевъ довольно рѣзко расходится съ Пушкинымъ, сходясь съ нимъ въ любви къ осени, особенно «первоначальной». Восторженное упоеніе природою юга свойственно каждому поэту и, конечно, не можетъ удивлять никого: вспомнимъ аналогичные факты изъ поэзіи хотя бы Некрасова,—и все-таки именно при этомъ сопоставленіи намъ всего рѣзче бросится въ глаза отмѣченный нами космополитической характеръ чистой лирики Тютчева: эта поэзія во всякомъ случаѣ не проникнута насквозь колоритомъ русской природы, не находитъ, что «дома лучше», и сѣверная выюга не звучитъ для нея сладче, чѣмъ ласковый шумъ южного моря. Извѣстныя словая Некрасова о хандрѣ и нѣмотѣ, овладѣвающими имъ на прекрасной чужбинѣ, его заявленіе, что только на родной сторонѣ онъ можетъ быть поэтомъ,—непримѣнимы къ служителямъ чистаго искусства, какимъ является и Тютчевъ вѣю обособленной сферы своей тенденціозной поэзіи. Поэтъ-народникъ и поэтъ-художникъ сходятся, повидимому, въ одномъ пункѣ,—въ отрицательномъ отношеніи къ тѣмъ мѣстамъ, где про текли ихъ дѣтскіе годы,—но только повидимому. Достаточно извѣстно, почему родныя мѣста не будили въ душѣ Некрасова отрадныхъ воспоминаній; Тютчевъ не научился въ дѣтствѣ «терпѣть и ненавидѣть», но при свиданіи съ тѣми мѣстами, где онъ мыслилъ и чувствовалъ впервые, онъ смотрѣтъ безъ участія, какъ на нѣчто чуждое, давно умершее, на свой дѣтскій возрастъ, «смутный призракъ забытаго, загадочнаго счастья, и у него вырывается восклицаніе:

«Ахъ, нѣть! Не здѣсь, не этотъ край безмолдный
Быть для души моей родимымъ краемъ;
Не здѣсь расцвѣль, не здѣсь быть величаемъ
Великій праздникъ молодости чудной!
Ахъ, и не въ эту землю я сложилъ
То, чѣмъ я жилъ и чѣмъ я дорожилъ!»
(«И такъ, опять увидѣлся я съ вами...»).

Совершенно иное отношеніе къ родной земли вскроется передъ нами, если мы перейдемъ къ тѣмъ стихотвореніямъ Тютчева, въ которыхъ выражается его взглядъ на русскій народъ, какъ на коллек тивную личность, и на его историческое предназначеніе. Обстановка, среди которой живетъ этотъ народъ, не дѣлается наряднѣе въ гла захъ поэта, но тѣмъ поразительнѣе выступаетъ контрастъ между

этую неприглядную внешностью и внутреннимъ величиемъ народнаго духа:

«Эти бѣдныя селенья,
Эта скудная природа,—
Край родной долготерпѣнья,
Край ты русскаго народа!
Не пойметъ и не оѣнитъ
Гордый взоръ иноплеменный,

Что сквозить и тайно свѣтить,
Въ наготѣ твоей смиренной.
Удрученный ношней крестной,
Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный
Исходилъ, благословляя».

Этихъ немногихъ, но выразительныхъ строкъ уже достаточно, чтобы уяснить себѣ основу воззрѣнія Тютчева на иноплеменный Западъ съ характерною для него гордостью и на Русь, какъ на страну, излюбленную и благословенную свыше за ея долготерпѣніе и смиреніе. Построенное на такомъ базисѣ противоположеніе двухъ міровъ есть одинъ изъ краеугольныхъ доктринальныхъ догматовъ славянофильского ученія. Мы не намѣрены вдаваться въ анализъ этого взгляда, хотя не можемъ не повторить высказаннаго нами же по другому поводу замѣчанія, что въ указанной формулы трудно не усмотрѣть того самаго смертнаго грѣха, который приписывается Западу, какъ его коренное свойство,— другими словами, трудно не усмотрѣть внутренняго противорѣчія. Приведенные стихи Тютчева буквально повторяютъ терминологію Хомякова, предрекавшаго гибель Англіи за то, что она лукава и *горда*, и предвидѣвшаго, что «другой странѣ *смиренной*, полной вѣры и чудесъ, Богъ отдастъ судьбу вселенной, громъ земли и гласъ небесъ». Извѣстно, что тотъ же поэтъ, теоретикъ славянофильства, предостерегалъ свое отечество отъ «слѣпой гордости», убѣждая его не склоняться на льстивые голоса, приглашающіе кичиться силой, славой, вообще земнымъ прахомъ, и, вспоминая горделивое самосознаніе «избраннаго рода», древняго Израиля, заявлялъ, что Богъ не терпитъ людской гордыни и отвергаетъ мнищихъ себя солью земли. И тѣмъ не менѣе, по его же глубокому вѣрованію, святая Русь есть именно избранница Божія, и самъ народъ обязательно долженъ проникнуться тѣмъ же взглядомъ на себя самого, разъ только онъ дорастеть и разовѣться до сознательнаго отношенія къ своимъ судьbamъ и задачамъ: иначе говоря, его—принимаемое за безспорный фактъ—смиреніе есть явленіе временнное, зависящее отъ степени пониманія своей міровой роли. Хомяковъ понималъ, что смиреніе можетъ быть и «рабскимъ», — и этого вида смиренія онъ такъ же мало желалъ для своей родины, какъ и слѣпого самообожанія, но не задавался вопросомъ о томъ, дѣйствительно ли выдвигаемое имъ качество присуще русскому народу, какъ нѣчто сознательное и неизмѣнное при какихъ бы то ни было условіяхъ исторической обстановки.

То же самое отношеніе къ вопросу въ общемъ мы находимъ и у Тютчева. Русскій народъ есть исполнитель «небесныхъ путей», чующій надъ своею главою «звезды въ незримой высотѣ» и неуклонно

идущій за нею къ таинственной цѣли («На взятіе Варшавы»); Русь— «лучшихъ будущихъ временъ глаголь и жизнь и просвѣщеніе» («Теперь тебѣ не до стиховъ...»), носительница Божіей правды, которую дерзко зоветъ на бой людская правда («Польскій мятежъ»), противъ которой ополчились всѣ «богомерзкіе народы», поднявшіеся со дна царства тьмы. На европейской почвѣ фарисейская наука создала двойную правду («Славянамъ, прѣѣхавшимъ въ Москву»); цѣлый міръ сталъ воплощеною ложью («Хотя бъ она сошла съ лица земнаго...»), и только одна Русь является приютомъ для гонимой истины. Къ Россіи, по убѣжденію Тютчева, приложима общая мѣрка: она представляетъ собою нѣчто особенное, непостижимое для узкаго и сухого человѣческаго разсудка:

«Умомъ Россіи не понять,
Аршиномъ общимъ не измѣрить;
У ней особенная стать:
Въ Россію можно только вѣрить».

Эти четыре строчки уже престарѣлого поэта, написанныя въ концѣ 1866 г., какъ бы резюмируютъ вкратцѣ содержаніе длинной тирады Б. Н. Алмазова въ его извѣстномъ стихотвореніи «Русь и Западъ», относящемся къ болѣе раннему времени (началу Крымской войны),— тирады, обращенной къ народамъ Запада съ заявлениемъ, что имъ не понять русского народа, не постигнуть высокаго смысла его судебъ, хотя бы они силою научнаго анализа и возстановили даже всѣ черты жизни давно отжившихъ націй. Мы еще увидимъ, какъ формулируется Тютчевымъ его общая точка зрѣнія на призваніе Россіи, какъ понимается имъ та «тайная мета», къ которой ведетъ ее Провидѣніе; но сперва наше вниманіе обращается на другой пунктъ,— именно на отношеніе поэта къ текущимъ событиямъ русской жизни въ зависимости отъ его основныхъ взглядовъ на исключительное положеніе Руси среди государствъ и народовъ міра.

Здѣсь мы должны отмѣтить одну характерную черту, наблюдалуюю въ поэзіи не одного Тютчева, но и большинства писателей родственнаго ему образа мыслей. Поэзія, вдохновляющаяся идеаломъ мессіанскаго значенія родного народа, легко, даже неизбѣжно переходитъ въ поэтическую публицистику, но при этомъ не менѣе fatalno обрекается на односторонность и тенденціозное освѣщеніе,— перспектива, которая, конечно, угрожаетъ всякой вообще публицистикѣ, но едва ли не наиболѣе тому виду, который смотрить на вещи сквозь призму предвзятаго идеализма. Какою бы узкостью ни отличалась порою пессимистическая поэзія гражданской или міровой скорби, она все же обыкновенно остается болѣе привязанною къ почвѣ дѣйствительности, строить свои, нерѣдко поспѣшныя обобщенія на отдельныхъ, но реальныхъ фактахъ, хотя бы и невѣрно понятыхъ или преувеличенныхъ. Национальный идеализмъ, напротивъ, слишкомъ охотно витаетъ въ облакахъ будущаго и мало считается

съ настоящимъ, нерѣдко даже прямо закрываетъ глаза на трезвую, неприкрашенную и потому часто печальную правду жизни; вѣруя непоколебимо въ свои догматы, онъ не можетъ устоять передъ искушениемъ окрасить въ цвѣтъ своей теоріи какіе угодно факты, даже болѣе того, — иногда замѣнить факты гипотезами, выдаваемыми за несомнѣнныя истины. Насущныя нужды народа, какъ бы онъ ни были жгучи, представляются мелкими, будничными злобами дня передъ величими задачами мірового предназначенія, — и потому излюбленною областью національно-поэтической поэзіи является такъ называемая внѣшняя, международная политика, міровая арена, обозрѣваемая съ высоты орлиного полета, тогда какъ своя, домашняя жизнь остается совершенно въ тѣни. Не всегда, конечно, бываетъ такъ: стихотворенія И. С. Аксакова, какъ и вся его литературная дѣятельность, наглядно доказываютъ, что идеалистъ, послѣдователь рѣзко определенной національной доктрины, можетъ быть и реалистомъ, *не иноприрующимъ* живой дѣйствительности съ ея запросами (не говоримъ: *не окрашивющимъ* ея); но въ общемъ націонализмъ въ поэзіи не представляетъ благопріятной почвы для развитія гражданскихъ мотивовъ, — какъ и наоборотъ.

Сказанное вполнѣ приложимо къ интересующимъ настъ стихотвореніямъ Тютчева. Если не считать пяти пьесъ, посвященныхъ памяти Наполеона (изъ нихъ одна — переводъ изъ Манzonи), эти стихотворенія представляютъ собою отлики поэта на длинный рядъ событий, начиная съ 1825 года и завершаясь самымъ концомъ шестидесятыхъ годовъ. При послѣдовательномъ прочтеніи ихъ нетрудно убѣдиться, что собственно внутренняя жизнь русскаго народа нашла себѣ лишь слабый отголосокъ въ этой націоналистической поэзіи: даже на пережитую его отечествомъ великую эпоху освобожденія Тютчевъ откликнулся лишь однимъ, — разумѣется, прочувствованнымъ, — четверостишиемъ («Императору Александру Второму») да еще небольшимъ стихотвореніемъ, относящимся къ началу этой эпохи (1857 году), — стихотвореніемъ, на которое мы еще укажемъ ниже. За то вопросъ о славянскомъ братствѣ, о русско-славянскихъ и въ частности о русско-польскихъ отношеніяхъ, события 1848 и слѣдующихъ годовъ, крымская война и печальной памяти борьба 1863 года — собрали обильную дань съ лиры Тютчева. На ряду съ этимъ предпочтеніемъ темъ извѣстнаго порядка бросается въ глаза нѣсколько близорукое отношеніе къ затрогиваемымъ фактамъ, скаживающееся въ увлечениіи внѣшнимъ могуществомъ. Это въ особенности относится къ стихотвореніямъ, непосредственно предшествующимъ по времени тому печальному разочарованію, какое принесла съ собою героическая эпopeя Севастополя. Въ своемъ взглядѣ на европейскія события того времени Тютчевъ вполнѣ согласенъ съ Жуковскимъ и княземъ Вяземскимъ, видя въ нихъ безумное «бѣснованіе языковъ», неистовый прибой разъяренныхъ морскихъ волнъ, дѣйствіе адскихъ силъ, и не вдумываясь въ смыслъ этого

исторического явления; подобно обоимъ названнымъ писателямъ, Тютчевъ противопоставляетъ этому зрѣлищу разрушенія русскаго великаны съ его «полнымъ гордаго довѣрія покоемъ», по выражению Лермонтова; сравнимъ стихотворенія «Море и Утесъ» и «Ужъ третій годъ бѣснуются языки» со «Святою Русью» князя Вяземскаго и особенно первую изъ указанныхъ пьесъ съ обращеніемъ Жуковскаго «Къ Русскому Великану» — и увидимъ, насколько близокъ Тютчевъ къ послѣднему даже въ самой терминологии, въ самомъ выборѣ поэтическихъ образовъ: оба стихотворенія написаны не только на одну тему, но даже какъ будто подъ непосредственнымъ вліяніемъ одного на другое. Внутреннія условія русской жизни за тѣ же самые годы остаются одинаково незатронутыми у всѣхъ названныхъ писателей. Но проходитъ нѣсколько лѣтъ, — и два столь противоположные міра приходятъ въ прямое столкновеніе; наступаетъ пора тяжкаго испытанія, провѣрки своихъ дѣйствительныхъ силъ. Восторженное отношеніе къ открывающейся съ 1853 года борьбѣ религіозно-національнаго характера, конечно, вполнѣ понятно, особенно въ человѣкѣ съ симпатіями и идеалами Тютчева; но и здѣсь нельзя не отмѣтить односторонности его взгляда даже по сравненію съ самимъ главою славянофильства, Хомяковымъ. Послѣдній, вполнѣ вѣря, что Русь призвана на святую брань свыше, какъ орудіе Божией воли, не забываетъ поставить ей на видъ, что такая миссія тяжела для земныхъ созданій, обремененныхъ грѣхами, и, перечисливъ безъ утайки «черную неправду въ судахъ», «иго рабства» и другіе «ужасные» грѣхи, налегшіе на его родину, призываетъ «недостойную избранью», но тѣмъ не менѣе избранную къ покаянію, къ уврачеванію язвъ «елеемъ плача». Правда, исцѣленіе представляется нѣсколько легкимъ, и въ другомъ стихотвореніи Хомякова, непосредственно примыкающемъ къ приведенному, та же Русь является уже покаявшееся и уподобляется разумному мужу, «сурово допросившему совѣсть» и съ чистымъ сердцемъ идущему на Божескій призывъ. Но у Тютчева мы не найдемъ и такихъ, во всякомъ случаѣ, характерныхъ признаній: даже въ стихотвореніи, проникнутомъ уже скорбью по поводу неожиданнаго оборота событий, онъувѣщеваетъ свою страну не измѣнить себѣ и оправдаться передъ Богомъ; смотря впередъ, онъ, какъ мы уже видѣли, вѣрюетъ, что Русь есть живой залогъ лучшихъ будущихъ временъ, но совершенно обходить вопросъ о томъ, насколько она въ настоящемъ подготовлена къ такому высокому призванію, и почему она оказалась не на высотѣ предлежащей ей задачи («Теперь тебѣ не до стиховъ...»). Испытанное разочарованіе не вызываетъ на трезвое раздумье, не возвращаетъ къ дѣйствительности, и все случившееся объясняется только «какимъ-то Божиимъ попущеніемъ» (*ibid.*); прежняя точка зрѣнія въ сущности остается въ полной силѣ.

Еще большая идеализація, еще большее удаленіе отъ реальной почвы вполнѣ естественно наблюдается въ тѣхъ случаяхъ, когда

поэтъ прямо приписываетъ свой собственный образъ мыслей цѣлой народной массѣ, то-есть, не довольствуясь вѣрою въ будущее, переносить свои идеалы въ настоящее и видитъ не то, что есть на самомъ дѣлѣ, но то, что ему хочется видѣть. Говоря о взятіи Варшавы (26-го августа 1831 года), Тютчевъ утверждаетъ что «руссій народъ» вело въ этомъ случаѣ «вышнее сознанье», почему онъ и береть на себя смѣло «оправданіе небесныхъ путей». Если бы это сознаніе выражалось только въ мысли о томъ, чтобы «грозой спасительной примѣра державы цѣлость соблюсти», то еще можно было бы принять такое утвержденіе; но мысль поэта на томъ не останавливается, и онъ развиваетъ ее въ томъ смыслѣ, что, принося въ жертву «одноплеменного орла», русскій народъ имѣлъ въ виду

«Славянъ родныя поколѣнья
Подъ знамя русское собрать
И вѣсть на подвихъ просвѣщенья
Единомысленную рать». («На взятие Варшавы»).

Едва ли нужно много говорить о томъ, какая смѣлая натяжка заключается въ этихъ словахъ, если даже мы согласимся разумѣть подъ именемъ *народа* только тѣ слои современного событію *общества*, которые могли болѣе сознательно къ нему отнести: гдѣ, спрашивается, даныя, позволяющія объявлять тенденціи панславизма (въ какой бы то ни было формѣ) *сознательнымъ*, завѣтнымъ идеаломъ этого столь еще юнаго въ политическомъ смыслѣ общества, взятаго въ цѣломъ?

Однако въ этомъ отношеніи жизнь сдѣлала свое дѣло и внесла нѣсколько иную ноту въ общее настроеніе поэзіи Тютчева. Мы уже сказали, насколько слабо въ ней отразилась послѣдовавшая за Крымскою воиною эпоха внутреннаго обновленія русской жизни; но пройти вполнѣ беззлѣдно для творчества поэта она не могла, — и къ этому времени, когда русскому обществу пришлось сводить счеты со своимъ прошлымъ, когда вниманіе всѣхъ усиленно обратилось на свои насущныя домашнія нужды, относится единственное въ своемъ родѣ стихотвореніе Тютчева, говорящее о «старыхъ, гнилыхъ ранахъ», «о рубцахъ насилий и обидъ», о живительномъ золотомъ лучѣ свободы, который разгонитъ сонъ и туманы (писано въ 1857 году). Здѣсь передъ нами является «темная толпа непробужденного народа», — того самаго, которому поэтъ преждевременно приписалъ *вышнее сознанье*. Несомнѣнно, что въ такомъ признаніи грустнаго, но неоспоримаго факта, болѣе истиннаго смиренія, чѣмъ во многихъ заявленіяхъ о смиреніи, какъ залогъ будущаго владычества надъ судьбами вселенной: приближеніе, хотя временное, къ дѣйствительности не замедлило оказать отрезвляющее воздействиѣ на поэта («Надъ этой темною толпой...»). Спѣшимъ оговориться, что такому истинному смиренію, выражающемуся въ искреннемъ признаніи своихъ язвъ, отнюдь не противорѣчить вѣра въ великія душевныя качества народа

и въ его великое міровое призваніе, лишь бы съ этою вѣрою не связывалось высокомѣрного отношенія къ другимъ, не проявлялось исключительности, сказывающейся въ противоположеніи себя другимъ, своего смиренія чужой гордости. Если бы смиренный мытарь въ своей молитвѣ сталъ благодарить Бога за то, что онъ не таковъ, какъ стоящій тутъ же гордый фарисей, онъ самъ вполнѣ уподобился бы послѣднему. Соплемся на поэзію хотя бы Полонского для подтверждения мысли о совмѣстности гражданской скорби съ вѣрою въ свой народъ, равно какъ послѣдней съ братскимъ отношеніемъ къ другимъ народностямъ.

Теперь обратимся къ вопросу о томъ, какъ именно формулируетъ Тютчевъ историческое призваніе своего отечества. Въ своемъ рѣзкомъ по тону стихотвореніи «На графа Нессельроде» поэтъ такими словами выражаетъ «святыя упованія» и убѣжденія» Руси:

«То, что обѣщано судьбами
Ужъ въ колыбели было ей,
Что ей завѣщано вѣками
И вѣрой всѣхъ ея царей;
То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечемъ,

То, что орель Екатерины
Ужъ покрывалъ своимъ крыломъ,—
Вѣнца и скіпетра Византії
Вамъ не удастся насъ лишить!
Всемірную судьбу Россіи,
Нѣтъ, вамъ ея не запрудить!...

Итакъ, вѣнецъ и скіпетръ Византії суждены святой Руси, другими словами, не только сокрушение царства Магомета и освобождение единоплеменниковъ и единовѣрцевъ составляетъ великую задачу русского народа, но и болѣе того,—прямое преемство того международного положенія, какое принадлежало, хотя бы въ идеѣ, носителямъ вѣнца Византії, какъ наслѣдникамъ міродержавныхъ римскихъ цезарей. Древній щитъ Олега на вратахъ Царьграда, по заявлению Пушкина, остановившій нашу рать передъ Стамбуломъ 1829 г., въ изображеніи Тютчева является символомъ исполненія вѣковаго завѣта въ 1854 г. («Олеговъ Щитъ»), когда истекъ уже четвертый вѣкъ господства невѣрныхъ, и роковой часъ готовъ пробить:

И своды древніе Софіи
Въ возобновленной Византіи
Вновь освѣнѣтъ Христовъ алтарь!..
(«Не гуль молвы прошелъ въ народѣ»).

Безконечная ночь уступаетъ мѣсто свѣтлому дню, и поэтъ призываетъ Русь, «перекрестясь, ударить въ колоколь въ Царьградѣ» и огласить весь Востокъ благовѣстнымъ звономъ: («Разсвѣть»). Возобновленная Византія будетъ царствомъ славянъ: русскій Монархъ падетъ ницъ передъ алтаремъ св. Софіи и встанетъ, какъ всеславянскій царь («Не гуль молвы...»); въ Кіевѣ, колыбели русского православія, и въ Царьградѣ, столицѣ всего православнаго міра, совершиится примиреніе Руси и Польши, вслѣдствіе чего водворится вожделѣній строй «въ славянской міровой громадѣ». («Тогда лишь въ полномъ торжествѣ...»). Слѣдовательно, возстановленіе втораго

Рима и сліяніе его воедино съ третьимъ является предпосылкою для осуществленія истиннаго историческаго предназначенія Россіи, заключающагося въ собраніи подъ русскное знамя славянскихъ племенъ; всѣ противорѣчія исчезнутъ, и «единомысленная рать» пойдетъ вслѣдъ за своимъ вождемъ «на подвигъ просвѣщенья».

Эта панславистская идея проходитъ красною нитью не только чрезъ всю специальную политическую поэзію Тютчева, но иногда про-глядываетъ довольно явственно и въ его стихотвореніяхъ, повидимому, чисто художественнаго характера, по крайней мѣрѣ, относимыхъ къ таковымъ въ печатныхъ изданіяхъ произведеній поэта. Мы едва ли ошибемся или допустимъ натяжку, если усмотримъ аллегорический смыслъ въ стихотвореніи «Альпы», которое позволимъ себѣ привести цѣликомъ, чтобы читатели сами могли судить о справедливости нашей догадки:

«Сквозь лазурный сумракъ ночи
Альпы снѣжные глядятъ;
Помертвѣлымъ ихъ очи
Лѣдистымъ ужасомъ разять.
Властью илькой обаянны,
До воспѣствія зари
Дремлютъ грозны и туманны,
Словно падшіе цари!»

Но Востокъ лишь заалѣть,
Чарамъ гибельнымъ конецъ:
Первый въ небѣ просвѣтлѣть
Брата старшаго вѣнецъ.
И съ главы большаго брата
На меньшихъ бѣжитъ струя,
И блеститъ въ вѣнцахъ изъ золата
Вся воскресшая семья»...

Укажемъ еще на пьесу «Восходъ солнца» («Молчанье сомнительно Востокъ»), про которую,— правда, съ меньшою долею вѣроятности,— также позволительно предполагать, что она навѣяна не только созерцаніемъ природы, но и идущею параллельно съ нимъ національно-политическою думою.

«Сліяніе славянскихъ ручьевъ въ русскомъ морѣ» при своей образности представляетъ собою формулу весьма растяжимую и неопределеннную: подъ нимъ можно разумѣть какъ соединеніе политического характера, притомъ весьма неодинаковое по формѣ, такъ и сліяніе родственныхъ, но все же отдѣльныхъ народностей въ одинъ народъ, точнѣе говоря, въ данномъ случаѣ обрусѣніе. Трудности какъ перваго, такъ еще болѣе втораго способа решенія славянского вопроса, достаточно очевидны, такъ что нѣть нужды о нихъ распространяться. Въ какомъ же именно видѣ представляется Тютчеву будущее всеславянство? Въ своемъ стихотворномъ привѣтствіи «Славянамъ», пріѣхавшемъ въ Москву въ 1867 г., онъ прежде всего заявляетъ о неоспоримомъ фактѣ кровнаго братства всѣхъ славянскихъ народностей: «Хотя враждебною судьбиной Но все жѣ мы народъ единый,
И были мы разлучены, Единой матери сыны»...

Подчеркнутая нами поэтическая неточность исправляется въ дальнѣйшихъ строкахъ того же стихотворенія, гдѣ мы читаемъ:

«Опально-мировое племя!
Когда же будешь ты народъ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгодъ,

И грянетъ крикъ къ объединению,
И рухнетъ то, что дѣлитъ насъ?...
Мы ждемъ и вѣримъ Провидѣнью:
Ему известны день и часъ...»

И эта вѣра въ правду Бога
Ужъ въ нашей не умреть груди,
Хоть много жертвъ и горя много
Еще мы видимъ впереди...

Онъ живъ, Верховный Промыслитель,
И судь Его не оскудѣль...
И слово «Царь-Освободитель»
За русскій выступить предѣль!»...

Приходится, повидимому, понимать дѣло такъ, что славяне въ этнографическомъ смыслѣ являются достаточно единымъ народомъ, но это единство должно еще привести къ политическому сліянію, къ созданію изъ единаго *племени* единаго *народа* именно въ смыслѣ государственного союза. Для достиженія такого результата, несомнѣнно, необходимы *жертвы*, необходима вооруженная борьба; поѣть не ошибся въ предвидѣніи того, что имя Царя-Освободителя получитъ еще новое значение въ русскихъ предѣловъ, но былъ бы, вѣроятно, мало удовлетворенъ результатами освободительного подвига 1877—1878 гг. съ точки зрења своихъ чаяній. Не проглядѣль также Тютчевъ и того факта, что есть налицо условія, *дѣлящія* славянъ, поселяющія между ними *рознь*. Эта печальная истина отмѣчена и въ гораздо болѣе раннемъ посланіи «Къ Ганкѣ» (1837 г.), изъ котораго явствуетъ, что кровные братья цѣлые вѣка блуждали въ слѣпотѣ и разбрелись во всѣ концы:

«А случалось ли порою
Намъ столкнуться какъ-нибудь,—
Кровь не разъ лилась рѣкою,
Мечъ терзалъ родную грудь.

И вражды безумной сѣмя
Плодъ историчный принесло:
Не одно погибло племя,
Иль въ чужбину отошло».

Къ сожалѣнію, и события позднѣйшихъ десятилѣтій, какъ пережитыя Тютчевымъ, такъ и тѣ, до которыхъ онъ не дожилъ, не обратили этихъ стиховъ въ устарѣлый анахронизмъ и показали, какъ еще далеко «славянской громадѣ» до «вожделѣннаго строя»: даже примиреніе Польши съ Русью отнюдь еще не означало бы прекращенія всѣхъ не братскихъ счетовъ между братьями, вовсе не расположеннымъ къ ассимиляціи и стойко держащимися каждой за свою особность, какъ бы мала она ни была; сознаніе кровнаго родства не устраняетъ сталкивающихся интересовъ, противоположныхъ стремлений, и нерѣдко вместо полюбовнаго размежеванія и взаимнаго тяготѣнія создается вражда.

Тютчевъ не касается вопроса о причинахъ отмѣченной имъ славянской розни; однако, вчитываясь въ его стихотворенія и читая между строками, мы можемъ усмотрѣть, что въ качествѣ разъединяющаго элемента онъ выдвигаетъ, хотя не единственный, но весьма существенный, — именно вопросъ вѣроисповѣдный. Недаромъ же, въ самомъ дѣлѣ, проронено замѣчаніе о возможности русско-польского примиренія въ *Кievѣ* и *Цареградѣ*. Этотъ намекъ даетъ намъ право заключить, что примиреніе обусловливается весьма утопичнымъ предположеніемъ о возможности отреченія Польши отъ «отступническаго» Рима, столицы «лже-намѣстника Христа» (*«Encyclica»*). То же обращеніе отъ Запада къ Востоку, конечно, предполагается само

собою для всѣхъ вообще славянъ-католиковъ, когда утверждается, что осуществленіе всеславянской идеи зависитъ отъ возстановленія православнаго богослуженія въ храмѣ св. Софіи.

«О Русь, велика грядущій день,
Вселенскій день и православный!» («Разсвѣтъ»).

Здѣсь мы подходимъ къ центральному пункту славянофильскаго ученія, полагающаго въ православіи основу обще-славянской народности и отрицающаго всякую будущность одинаково у католицизма, какъ и у отщепившагося отъ него протестантизма. События 60-хъ годовъ приводятъ Тютчева къ заключенію, что надъ Римомъ совершается казнь, — заслуженная кара Божіей правды за тяжкій, *тысячелѣтній* грѣхъ, т.-е., за отпаденіе единства вселенской Церкви (писано въ 1867 г.); роковое слово: «Свобода совѣсти есть бредъ» погубить самый принципъ папизма (*«Encyclica»*). Не менѣе характерно для настроенія поэзіи Тютчева другое стихотвореніе, относящееся къ протестантизму: послѣдній уподобляется дому, готовому опустѣть, храму, въ которомъ вѣра въ послѣдній разъ предстоитъ вѣрюющимъ, собираясь навсегда покинуть ихъ (*«Я лютеранъ люблю богослуженье»*).

Итакъ, первымъ условіемъ славянскаго единомыслія является единомысліе церковное. Осуществимо ли это условіе? Это вопросъ, на который, разумѣется, никакой опредѣленный отвѣтъ не можетъ быть данъ *a priori*, и мы видимъ только, какъ мало залетающая впередъ теорія считается съ фактами исторической дѣйствительности, и насколько она своею исключительностью въ сущности противодѣйствуетъ той самой цѣли, къ которой искрѣннѣйшимъ образомъ стремится. Другихъ пунктовъ розни Тютчевъ не касается вовсе: славянамъ, приѣхавшимъ въ Москву, онъ говоритъ (въ цитированномъ выше стихотвореніи), что здѣсь они больше дома, чѣмъ у себя на родинѣ, — «здѣсь, гдѣ господство незнакомо иноязыческихъ властей», — какъ бы упуская изъ вида, что при всей ихъ близости другъ къ другу живые славянскіе языки все-таки не равняются одному языку и для взаимнаго пониманія требуютъ предварительного взаимнаго, хотя бы и нетруднаго, изученія. Отношеніе меньшихъ братьевъ, съѣхавшихся «со всѣхъ славянщины концовъ», къ старѣшему брату немедленно измѣнилось бы, если бы имъ пришлось принять языкъ послѣдняго именно какъ языкъ власти. И съ этой стороны вопросъ о всеславянствѣ оказывается гораздо болѣе сложнымъ и запутаннымъ, чѣмъ кажется онъ представляется въ стихахъ и вообще въ теоріи.

Есть, однако, глава въ исторіи славянскаго міра, свидѣтельствующая о прискорбной братской розни, которая никакъ не могла быть обойдена Тютчевымъ и въ значительной степени обусловила содержаніе его политической поэзіи. Мы разумѣемъ, конечно, вопросъ о русско-польскихъ отношеніяхъ, входящій, какъ составная часть, въ вопросъ о славянскихъ отношеніяхъ вообще.

Тютчеву выпало на долю касаться этого вопроса на протяжении значительного периода времени, и, если нельзя сказать, чтобы его отношение къ вопросу измѣнялось въ своей основе сообразно съ различными его стадіями, то невозможно утверждать того же самаго относительно тона, въ какомъ поэтъ говорилъ на эту жгучую для всякаго русскаго человѣка тему.

Интересно прежде всего сопоставить отношение Тютчева къ событиямъ 1830—1831 годовъ съ отзывами на нихъ другихъ представителей русской поэзіи. Жуковскій и Пушкинъ, выражая свое отношение къ совершившейся катастрофѣ, видятъ въ ней решеніе стародавняго спора, давно уже взвѣшеннаго судбою, и, мало заглядывая или и вовсе не заглядывая въ будущее, приводятъ на память прошедшее, тѣ взаимные счеты, которые должны были привести къ роковому концу. Правда, Пушкинъ ставить двойной вопросъ, могущій быть решеннымъ только въ будущемъ, — вопросъ о сліяніи славянскихъ ручьевъ въ русскомъ морѣ или объ изсяканіи послѣдняго; но очевидно, что, разъ поставлена такая дилемма, отвѣтъ на нее готовъ уже заранѣе. Другое отношение къ дѣлу мы находимъ у Хомякова: «споръ славянъ между собою» съ его точки зрѣнія является, конечно, самымъ прискорбнымъ фактомъ, и онъ, не вдаваясь въ архивныя изысканія, отъ всего сердца предаетъ проклятию «позоръ безмысленной вражды, перешедшей въ поколѣнья», и тѣ самыя преданія, на которыхъ указываетъ Пушкинъ, какъ безмолвныя для постороннихъ и слишкомъ краснорѣчивыя для заинтересованныхъ сторонъ:

«Да будутъ прокляты преданья,
Вѣковъ исчезнувшихъ обманъ,
И повѣсть мщенья и страданья,
Вина неисцѣлимыхъ ранъ!»

Выражающееся въ этихъ восклицаніяхъ чувство, конечно, не решаетъ заколдованного вопроса, но во всякомъ случаѣ обѣщаетъ болѣе для будущаго, чѣмъ неизбѣжно растравляющія язву воспоминанія о старыхъ обидахъ.

Тютчевъ, подобно Хомякову, также скорбить по поводу «рокового удара», совершенного надъ «горестной» Варшавой, и его стихотвореніе на эту тему, уже известное намъ, проникнуто состраданіемъ къ «одноплеменному орлу, пронзенному братскою стрѣлой», но въ то же время возвышающимъ душу сознаніемъ неизбѣжности совершившагося «приговора судебъ». Во имя своего высшаго призванія русскій народъ долженъ былъ принести очистительную жертву, подобно тому, какъ нѣкогда Агамемнонъ принесъ богамъ на закланье родную dochь. Въ этомъ случаѣ Тютчевъ является, несомнѣнно, болѣе славянофиломъ, чѣмъ Хомяковъ, — именно какъ выразитель мистического взгляда на предназначение своего народа, исполнителя тайныхъ путей Провидѣнія. Въ чёмъ заключается это предназначение, мы уже видѣли, равно какъ отмѣтили и рискованный приемъ поэта, отождествляющаго себя съ на-

родомъ болѣе, чѣмъ это возможно; этотъ же пріемъ внушилъ Тютчеву заключительную строфу разбираемаго стихотворенія «На взятіе Варшавы»:

«Вѣрь слову русскаго народа:
Твой пепель мы свято бережемъ,
И наша общая свобода,
Какъ фениксъ, возродится въ немъ!»

Изъ всего этого ясно слѣдуетъ, что поэтъ считаетъ борьбу уже на вѣки конченнаю: отъ павшаго народа остается одинъ прахъ. Очевидно также, что достиженіе славянскаго единомыслія возможно лишь подъ условіемъ смерти одного изъ членовъ семьи; тяжелая операція совершена и желанный идеальъ является осуществимымъ. Однако, спустя нѣкоторое время, оказывается не то, и Тютчевъ, какъ мы уже знаемъ, вновь поднимаетъ вопросъ о примиреніи Польши съ Русью, хотя, казалось бы, о примиреніи не могло бы быть и рѣчи, разъ оно замѣнено смертью одной изъ враждовавшихъ сторонъ. Стало быть, осталось налицо нѣчто большее, чѣмъ пепель отъ жертвы всесожженія, и роковой вопросъ еще не можетъ считаться отошедшимъ въ область преданій (условій предполагаемаго примиренія мы уже выше коснулись). Вскорѣ затѣмъ поэту приходится еще разъ созерцать грустное зрѣлище братоубийственной борьбы: «мертвецы» воскресли вновь «для новыхъ похоронъ» («Польскій мятежъ»). Когда страсти разгораются до крайней степени, требовать спокойнаго, безпристрастнаго отношенія къ себѣ и къ противнику становится невозможнымъ, — и мысль о примиреніи исчезаетъ сама собою. Тѣмъ большими диссонансомъ звучитъ задушевный привѣтъ *всімъ, безъ изгнанія, братьямъ*, прибывшимъ «на праздникъ мира и любви» «со всіхъ концовъ славянщины», рядомъ съ упоминаніемъ объ Іудѣ, «кто для своихъ всегда и всюду злодѣемъ былъ передовымъ» («Славянамъ»); конечно, изъ пѣсни, какъ говорится, слова не выкинешь, но непоправимый ущербъ, наносимый идеалу славянскаго братства вѣковымъ раздоромъ, сомнѣнію не подлежитъ. Поучительно сопоставить этотъ рѣзкій отзывъ съ другимъ, отдѣленнымъ отъ него ровно тридцатилѣтнимъ промежуткомъ: въ посланій къ Ганкѣ (1837 г.), говоря о славянскомъ возрожденії, Тютчевъ поминаетъ и Варшаву наряду съ Киевомъ, Москвою и Вышеградомъ; братья начинаютъ обмѣниваться понятными другъ для друга рѣчами, и

«На яву увидять внуки
То, что снился отцамъ».

Выше мы сказали, что, несмотря на различія въ тонѣ, сущность отношенія Тютчева къ русско-польскому вопросу едва ли измѣнялась. Этому взгляду не противорѣчитъ, по нашему мнѣнію, то обстоятельство, что Тютчевъ, какъ мы сейчасъ видѣли, то считаетъ самый вопросъ поконченнымъ, то вновь говоритъ о примиреніи и затѣмъ, повидимому, теряетъ на него надежду. Въ этомъ отношеніи самый ходъ событий

оказывалъ на поэта свое воздѣйствіе, но основа его воззрѣнія оставалась всегда та же: Польша должна или примириться съ Россіею на почвѣ традицій Кієва и Царыграда,—иначе говоря, переродиться,—или навсегда погибнуть для славянства; какимъ изъ этихъ двухъ путей будетъ достигнуто единомысліе въ рядахъ послѣдняго,—покажетъ будущее. Примиреніе во всякомъ случаѣ является весьма проблематичнымъ, будучи поставлено въ зависимость отъ вѣроисповѣдного принципа.

Такова въ общихъ чертахъ національно-политическая поэзія Тютчева. Независимо отъ проникающей ее идеи, несомнѣнно, что сама современная исторія вліяла на ея содержаніе, пробуждая и поддерживая живой интересъ къ тѣмъ именно темамъ, къ которымъ влекли поэта его симпатіи. Жизнь Тютчева захватила безъ малаго три четверти того вѣка, который поставилъ ребромъ такъ много національныхъ и политическихъ вопросовъ, и поэтъ отразилъ въ своихъ произведеніяхъ тѣ изъ нихъ, которые имѣли ближайшее отношеніе къ его отечеству. Роль Россіи въ мірѣ, Востокъ и Западъ, православіе и папизмъ, панславизмъ и русско-польскій вопросъ,—все это такія темы, которыхъ еще не скоро утратятъ своей остроты и которыхъ въ теченіе XIX столѣтія неоднократно принимали характеръ очередныхъ вопросовъ дня и волновали всѣ умы. Отзывчивость Тютчева была далеко неодинакова по отношенію къ общественнымъ проблемамъ различныхъ порядковъ; но въ той сферѣ, которая сосредоточила на себѣ его особенное вниманіе, онъ является одностороннимъ, страстнымъ, но искреннимъ, убѣжденнымъ бойцомъ, не страшашимся никогда выговаривать свое мнѣніе, и, насколько его чисто художественная поэзія можетъ доставить наслажденія развитому эстетическому вкусу, настолько же его боевая, тенденціозная поэзія цѣнна, какъ матеріалъ для ознакомленія съ умственными теченіями и общественными настроеніями русскихъ людей нашего вѣка, имѣющаго въ самомъ скоромъ времени сдѣлаться всецѣло достояніемъ нелицепріятной исторіи.

H. Аммонъ.

Возвышенное въ поэзіи Тютчева.

Прежде всего бросается въ глаза, при знакомствѣ съ поэзіей Тютчева, созвучіе его вдохновенія съ жизнью природы,—совершенное воспроизведеніе имъ физическихъ явлений, какъ состояній и дѣйствій живой души. Конечно, всѣ дѣйствительные поэты и художники чувствуютъ жизнь природы и представляютъ ее въ одушевленныхъ образахъ; но преимущество Тютчева передъ многими изъ нихъ состоитъ въ томъ, что онъ вполнѣ и сознательно *вѣрилъ* въ то, что чувствовалъ,—ощущаемую имъ живую красоту принималъ и понималъ не какъ свою фантазію, а какъ *истину*. Эта вѣра и это пониманіе стали рѣдкіи въ новое время,—мы не находимъ

ихъ даже, напримѣръ, у такого сильнаго поэта и тонкаго мыслителя, какъ Шиллеръ. Въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи «Боги Греціи» онъ предполагаетъ, что природа только *была* жива и прекрасна въ *воображениіи* древнихъ, а на самомъ дѣлѣ она лишь мертвая машина. Смерть эллинской миѳологіи была для Шиллера смертью самой природы; вмѣстѣ съ прекрасными богами Греціи исчезла и душа міра, оставивъ только свою тѣнь въ художественныхъ памятникахъ классической древности.

Тютчевъ не вѣрилъ въ эту смерть природы, и ея красота не была для него пустымъ звукомъ. Ему не приходилось *искать* душу міра и безотвѣтно привѣтствовать отсутствующую: она сама сходилась съ нимъ и въ блескѣ молодой весны, и въ «свѣтлости осеннихъ вечеровъ»; въ сверканы пламенныхъ зарницъ и въ шумѣ почного моря она сама намекала ему на свои роковые тайны. И безъ греческой миѳологіи міръ былъ полонъ для него и величья, и красы, и красокъ. Въ этомъ нѣть еще ничего особеннаго. Живое отношеніе къ природѣ есть существенный признакъ поэзіи вообще, отличающей ее отъ двоякой прозы: житейско-практической и отвлеченно-научной. Въ минуты настоящаго поэтическаго вдохновенія Шиллеръ забывалъ, конечно, о «законѣ тяготѣнія» — и отдавался непосредственнымъ впечатлѣніямъ природной красоты. Но у Тютчева, какъ я уже замѣтилъ, важно и дорого то, что онъ не только *чувствовалъ*, а и *мыслилъ* какъ поэтъ, — что онъ былъ *убѣжденъ* въ *объективной* истинѣ поэтическаго воззрѣнія на природу. Какъ бы прямымъ отвѣтомъ на Шиллеровскій похоронный гимнъ мнимоумершой природѣ служитъ стихотвореніе Тютчева:

Не то, чтѣ мните вы, природа —
Не слѣпокъ, не бездушный ликъ:
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

Вовсе не высшее *знаніе*, только собственная слѣпота и глухота заставляютъ людей отрицать внутреннюю жизнь природы:

Они не видять и не слышатъ, Живутъ въ семъ мірѣ, какъ впомахъ, Для нихъ и солнца, знать, не дышать, И жизни нѣть въ морскихъ волнахъ. Лучи къ нимъ въ душу не сходили, Весна въ груди ихъ не цвѣла,	При нихъ лѣса не говорили, И ночь въ звѣздахъ нѣма была; И, языками неземными Волнуя рѣки и лѣса, Въ ночи не совѣщалась съ ними Въ бесѣдѣ дружеской грозы...
--	---

Кто же правъ изъ двухъ поэтовъ? Есть жизнь и душа въ природѣ, или нѣть? Или, можетъ быть, существуютъ двѣ истины: одна для поэзіи, а другая — для науки? Но наука тутъ не при чёмъ; она не отвѣчаетъ за тѣ ложные выводы, которые дѣлаются изъ ея достовѣрныхъ данныхъ въ силу односторонняго направленія мысли, возвладавшаго въ извѣстную эпоху. Наука никогда не доказывала — да по существу дѣла и не можетъ доказывать, что міръ есть *только*

механизмъ, что природа есть *только* мертвое вещество. Различная науки изслѣдуютъ природу *по частямъ* и находятъ между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая изслѣдовала бы вселенную въ ея единствѣ и цѣлости, вовсе не существуетъ, а логика, обязательная и для наукъ, не позволяетъ отъ анализа частей и ихъ виѣшней частичной связи дѣлать окончательное заключеніе о всеобщемъ характерѣ или смыслѣ цѣлага. Вѣдь и въ тѣлѣ живого человѣка всѣ его части и частицы связаны между собой механически, — это не мѣшаеть ему, однако, быть одушевленнымъ существомъ. Никто не рѣшился утверждать, что механическое устройство и дѣйствіе скелета, сосудистой, мускульной и нервной системъ, изучаемое точными науками — анатоміей и физіологіей, — исчерпываетъ собою весь истинный смыслъ человѣческаго существа и существованіе; напротивъ, каждый согласится, что весь этотъ механизмъ координированныхъ частей имѣеть смыслъ только какъ орудіе или средство выраженія и осуществленія внутренней жизни или души человѣка. Точно такъ же и механизмъ всей природы есть только сложенная совокупность для проявленія и развитія всемирной жизни. Точное ученіе этого механизма въ высшей степени важно: оно даетъ человѣку возможность въ извѣстной мѣрѣ управлять естественными явленіями, пользоваться ими для своихъ цѣлей. Но ни теоретической интересъ ни практическая польза такого изученія не составляютъ еще достаточнаго основанія, чтобы видѣть здѣсь всю истину о природѣ: это въ сущности было бы такъ же странно, какъ если бы кто-нибудь сталъ утверждать, что для полнаго и окончательнаго познанія человѣка нужно только вскрыть и препарировать его трупъ.

Противъ нашего заключенія оть одушевленности человѣческаго тѣла къ одушевленности тѣла всемирного нельзѧ приводить то соображеніе, что живого человѣка мы дѣйствительно видимъ какъ замкнутое цѣлое въ нѣкоторомъ ощутительномъ единствѣ, — природу же воспринимаемъ всегда лишь по частямъ. Ясно, что это различіе зависитъ не отъ существа дѣла, а отъ причины совершенно условной — отъ относительныхъ размѣровъ того и другого предмета. Для микроскопическихъ глазъ муhi вовсе не существуетъ цѣлаго гармонического очертанія человѣка или человѣческаго лица съ его выражениемъ, да и для нашего собственнаго глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось-бы, при микроскопическомъ изслѣдованіи, въ безформенную массу грубыхъ тканей и клѣтокъ, механически нагроможденныхъ безъ всякой законченности и единства. Однако, когда я смотрю на это лицо, какъ на живое, узнаю въ его очертаніяхъ и измѣненіяхъ слѣды внутренняго опыта и выражение мыслей, чувствъ и желаній, вижу черезъ него душу и судьбу этого человѣка, то я, конечно, вижу несравненно *больше*, чѣмъ видѣть въ немъ самая наблюдательная муha, и узнаю о немъ болѣе полную истину, чѣмъ ту, которую могъ бы узнать при помощи

микроскопа. Никакъ не тѣ волокна и клѣтки, а именно это большее, содержательное и единое, что я вижу живымъ взглядомъ,—оно то и есть *истина*, или подлинный *смысл* этого человѣческаго существа, а то все—только матеріалъ, въ которомъ воплощается, посредствомъ котораго выражается эта истина или этотъ смыслъ.

Какъ тѣлесная видимость человѣка, сверхъ анатомическихъ и физиологическихъ фактовъ, говорить намъ еще своими знаками о его внутренней жизни или душѣ, такъ точно и явленія всей природы, каковъ бы ни былъ ихъ *механический составъ*, говорять намъ въ своей живой дѣйствительности о жизни и душѣ великаго міра. Ни логика ни сама естественная наука, не позволяютъ намъ разсуждать иначе и противопоставлять человѣка міру, какъ живое мертвому. Для взгляда исключительно-аналитического—и въ самомъ человѣкѣ нѣтъ живого и цѣлаго существа, а только механическая совокупность матеріальныхъ частицъ; для взгляда же, направленнаго на полную истину, а не на одну только ея сторону, есть жизнь и во внѣшней природѣ. Послѣдовательная мысль должна выбирать между двумя положеніями: или ни въ чёмъ, даже въ человѣкѣ, даже въ нась самихъ, нѣтъ одушевленной жизни, или—она есть во всей природѣ, различаясь только по степенямъ и формамъ. Ибо нѣтъ никакой возможности, оставаясь на научной почвѣ, *отдѣлить* человѣка въ этомъ отношеніи отъ остального міра. Свою тѣлесною организаціей, которой обусловлено развитіе его внутренней жизни, человѣкъ принадлежитъ къ животному царству, а животныхъ никакъ нельзя выдѣлить изъ прочей природы и признать ихъ исключительными носителями жизни. На самомъ дѣлѣ животное царство неразрывно связано съ растительнымъ, имѣя съ нимъ первоначально одну общую основу органическаго бытія, до сихъ поръ еще представляемую такими организмами, которыхъ нельзя отнести ни къ животнымъ ни къ растеніямъ. А цѣлый органическій міръ, при всемъ своемъ формальномъ *отличии*, нераздѣлно связанъ однако, и по составу и по происхожденію, съ міромъ неорганическимъ. Утверждать безусловную грань между этими двумя мірами такъ же въ сущности неосновательно и противно духу науки, какъ если бы мы признали безусловную разнородность между твердымъ скелетомъ и мягкими тканями человѣческаго тѣла.

Нѣтъ во всей вселенной такой пограничной черты, которая дѣлила бы ее на совершенно особенные, не связанныя между собою области бытія; повсюду существуютъ переходныя, промежуточныя формы, или остатки такихъ формъ, и весь видимый міръ не есть собраніе дѣланныхъ вещей, а продолжающееся развитіе или ростъ единаго живого существа.

Глубокое и сознательное убѣжденіе въ дѣйствительной, а не воображаемой только, одушевленности природы избавляло нашего поэта отъ того раздвоенія между мыслю и чувствомъ, которымъ съ прошлаго вѣка и до послѣдняго времени страдаетъ большинство

художниковъ и поэтовъ. Простодушно принимая механическое міровоззрѣніе за всеначальное и единствено-научное, а потому несомнѣнное, вѣря ему на слово, эти служители красоты не впрыгутъ въ свое дѣло. Какъ художники, они передаютъ намъ жизнь и душу природы, но при этомъ въ умѣ своемъ убѣждены, что она безжизненна и бездушна, что ихъ чувство и вдохновеніе ихъ обманываютъ, — что красота есть субъективная иллюзія. А на самомъ дѣлѣ иллюзія только въ томъ, что отраженіе ходячихъ мнѣній на поверхности ихъ сознанія принимается ими за нѣчто болѣе достовѣрное, чѣмъ та истина, которая открывается въ глубинѣ ихъ собственнаго поэтическаго чувства.

Понятно, что при такомъ невѣріи самихъ поэтовъ въ свое дѣло простые смертные пріучаются смотрѣть на поэзію (и на художественную красоту вообще) какъ на праздный вымыселъ, и про всякую идею, возвышающуюся надъ житейскою плоскостью, говорять: «это только поэзія!» — разумѣя: «это вздоръ и пустяки!» И кто же въ самомъ дѣлѣ станетъ придавать серьезное значеніе тому божеству, въ которомъ сами его жрецы видятъ только пріятный вымыселъ?

Поэты, не вѣрящіе въ поэзію, у которыхъ умъ противорѣчитъ вдохновенію, и которые думаютъ, что истина есть только одна механика, — такие поэты или должны быть неискренни, или же, отдаваясь поэтическому чувству, должны воздерживаться отъ всякой мысли, чѣмъ не всегда возможно и не всегда полезно; когда же они начинаютъ разсуждать, у нихъ выходитъ отвлеченная и мертвая дидактика, вовсе не нуждающаяся въ «языкѣ боговъ». Тютчевъ былъ избавленъ отъ такого печального положенія. Его умъ былъ вполнѣ согласенъ съ вдохновеніемъ: поэзія его была полна сознанной мысли, а его мысли находили себѣ только поэтическое, т.-е. одушевленное и законченное выраженіе.

Дѣло поэзіи, какъ и искусства вообще, — не въ томъ, чтобы «украшать дѣйствительность пріятными вымыслами живого воображенія», какъ говорилось въ старинныхъ эстетикахъ, а въ томъ, чтобы воплощать въ *ощущительныхъ* образахъ тотъ самый высшій смыслъ жизни, которому философъ даетъ опредѣленіе въ разумныхъ понятіяхъ, который проповѣдуется моралистомъ и осуществляется историческимъ дѣятелемъ, какъ идея добра. Художественному чувству непосрественно открывается въ формѣ ощущительной красоты то же совершенное содержаніе бытія, которое философіей добывается какъ истина мышленія, а въ нравственной дѣятельности даетъ о себѣ знать, какъ безусловное требованіе совѣсти и долга. Это только различныя стороны или сферы проявленія одного и того же; между ними нельзя провести раздѣленія, и еще менѣе могутъ они противорѣчить другъ другу. Если вселенная имѣеть смыслъ, то двухъ противорѣчащихъ другъ другу истинъ — поэтической и научной, — такъ же не можетъ быть, какъ и двухъ исключающихъ другъ друга

«высшихъ благъ», или цѣлей существованія. Слѣдовательно, правъ былъ нашъ поэтъ, когда прекрасное онъ сознательно принималъ и утверждалъ не какъ вымыселъ, а какъ предметную истину, и, чувствуя жизнъ природы и душу міра, былъ убѣжденъ въ дѣйствительности того, что чувствовалъ.

Убѣждение въ истинности поэтическаго воззрѣнія на природу и вытекающая отсюда цѣльность творчества, гармонія между мыслю и чувствомъ, вдохновеніемъ и сознаніемъ, составляетъ преимущество Тютчева даже передъ такимъ значительнымъ поэтомъ-мыслителемъ, какъ Шиллеръ; но, разумѣется это не есть исключительное преимущество нашего поэта или специфическая особенность его поэзіи. И въ новой литературѣ далеко нѣ всѣ поэты такъ довѣрчиво, какъ Шиллеръ, приняли механическое міровоззрѣніе, такъ легко усвоили дуализмъ Карtesія или субъективизмъ Канта. Многіе продолжали и продолжаютъ сознательно вѣрить въ дѣйствительность жизни и красоты, не видя въ этомъ никакого противорѣчія съ маятникомъ Галилея или закономъ тяготѣнія Ньютона. Между великими европейскими именами достаточно назвать Шелли въ Англіи и особенно Гёте въ Германіи. Гёте, который былъ не только поэтъ и мыслитель, но и великий естествоиспытатель, положившій начало двумъ интереснѣйшимъ наукамъ — сравнительной анатоміи животныхъ и морфологіи растеній, — лучше, чѣмъ кто-либо другой, могъ видѣть всю недостаточность исключительно-механическаго объясненія вселенной, и въ цѣломъ рядъ великолѣпныхъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: «Gott und Welt», онъ прославляетъ душу міра и жизнь природы.

Конечно, Тютчевъ не рисовалъ такихъ грандіозныхъ картинъ міровой жизни въ цѣломъ ходѣ ея развитія, какую мы находимъ у Гёте, напримѣръ, въ стихотвореніи: «Vertheilet euch durch alle Regionen»... Но и самъ Гёте не захватывалъ, быть можетъ, такъ глубоко, какъ нашъ поэтъ, *темный корень* мірового бытія, не чувствовалъ такъ сильно и не сознавалъ такъ ясно ту *тайную основу всякой жизни*, — природной и человѣческой, — основу, на которой зиждется и смыслъ космического процесса, и судьба человѣческой души, и вся исторія человѣчества. Здѣсь Тютчевъ дѣйствительно является вполнѣ своеобразнымъ и если не единственнымъ, то, навѣрное, самымъ сильнымъ во всей поэтической литературѣ. Въ этомъ пункѣ — ключъ ко всей его поэзіи, источникъ ея содержательности и оригиналной прелести.

«Олимпіецъ» Гёте обнималъ своимъ орлинымъ взглядомъ величие и красоту живой вселенной. Онъ зналъ, конечно, что этотъ свѣтлый, дневной міръ не есть первоначальное, что подъ нимъ скрыто совсѣмъ другое и страшное, но онъ не хотѣлъ останавливаться на этой мысли, чтобы не смущать своего олимпійского спокойствія. Но при такомъ одностороннемъ взглядѣ смыслъ вселенной не можетъ быть раскрыть во всей своей глубинѣ и полнотѣ. Нашъ поэтъ оди-

наково чутокъ къ обѣимъ сторонамъ дѣйствительности; онъ никогда не забываетъ, что весь этотъ свѣтлый, дневной обликъ живой природы, кроторый онъ такъ умѣетъ чувствовать и изображать, есть пока лишь «златотканый покровъ», расцвѣченная и позолоченная вершина, а не основа мірозданія:

На міръ таинственный духовъ,
Надъ этой бездной безыменной,
Покровъ наброшенъ златотканый
Высокой волею боговъ.
День — сей блестательный покровъ,
День — земнородныхъ оживленье,
Души болящей исцѣленье,
Другъ человѣковъ и боговъ!

Но меркнетъ день, настала ночь;
Пришла — и сѣ міра рокового
Ткань благодатную покрова,
Собравъ, отбрасываетъ прочь...
И бездна намъ обнажена
Съ своими страхами и мглами,
И нѣть преградъ межъ ей и нами:
Вотъ отчего намъ ночь страшна!

«День» и «ночь», конечно, только видимые символы двухъ сторонъ вселенной, которые могутъ быть обозначены и безъ метафоръ. Хотя поэтъ называетъ здѣсь темную основу мірозданія «бездной безыменной», но ему сказалось и собственное ея имя, когда онъ прислушивался къ напѣвамъ ночной бури:

О чѣмъ ты воешь, вѣтръ ночной,
О чѣмъ такъ сѣтуешь безумно?
Что значить странный голосъ твой,
То глухо-жалобный, то шумный?
Понятныи сердцу языкомъ
Твердишь о непонятной мукѣ,
И роешь и взрываешь въ немъ
Порой неистовые звуки.

О, страшныхъ пѣсенъ сихъ не пой
Про дрѣвній хаосъ, про родимый!
Какъ жадно міръ души ночной
Внимаетъ повѣсти любимой!
Изъ смертной рвется онъ груди
И съ безпредѣльнымъ жаждетъ слиться...
О, бурь уснувшихъ не буди;
Подъ ними хаосъ шевелится!...

Хаосъ, т.-е. отрицательная безпредѣльность, зіяющая бездна всякоаго безумія и безобразія, демонические порывы, возстающіе противъ всего положительнаго и должнаго — вотъ глубочайшая сущность міровой души и основа всего мірозданія. Космический процессъ вводитъ эту хаотическую стихію въ предѣлы всеобщаго строя, подчиняетъ ее разумнымъ законамъ, постепенно воплощая въ ней идеальное содержаніе бытія, давая этой дикой жизни смыслъ и красоту. Но и введенный въ предѣлы всемирнаго строя, хаосъ даетъ о себѣ знать мятежными движеніями и порывами. Это присутствіе хаотического, ирраціональнаго начала въ глубинѣ бытія сообщаетъ различнымъ явленіямъ природы ту свободу и силу, безъ которыхъ не было бы и самой жизни и красоты. Жизнь и красота въ природѣ — это борьба и торжество свѣта надъ тьмою, но этимъ необходимо предполагается, что тьма есть дѣйствительная сила. И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена въ торжествѣ міровой гармоніи: достаточно, чтобы свѣтлое начало овладѣло ею, подчинило ее себѣ, до извѣстной степени воплотилось въ ней, ограничивая, но не упраздняя ея свободу и противоборство. Такъ безбрежное море въ своемъ бурномъ волненіи *прекрасно*, какъ проявленіе и образъ мятежной жизни, гигантскаго порыва стихійныхъ силъ, введенныхъ,

однако, въ незыблемые предѣлы, не могущихъ расторгнуть общей связи мірозданія и нарушить его строя, а только наполняющихъ его движеніемъ, блескомъ и громомъ:

Какъ хорошо ты, о, море ночное,
Здѣсь лучезарно, тамъ сизо-чернѣ!
Въ лунномъ сіянїи, словно живое,
Ходить, и дышитъ, и блещетъ оно.
На безконечномъ, на вольномъ просторѣ
Блескъ и движеніе, грохотъ и громъ...

Тусклымъ сіянью облитое море,
Какъ хорошо ты въ безлюдьи ночномъ?
Зыбы ты великая, зыбы ты морская!
Чей это праздникъ такъ празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткія звѣзды глядятъ съ высоты...

Хаосъ, т.-е. само безобразіе, есть необходимый фонъ всякой земной красоты, и эстетическое значеніе такихъ явлений, какъ бурное море или ночная гроза, зависитъ именно оттого, что «подъ ними хаосъ шевелится». Въ изображеніи всѣхъ этихъ явлений природы, гдѣ яснѣе чувствуется ея темная основа, Тютчевъ не имѣть себѣ равныхъ:

Не остывшая отъ зною,
Ночь юльская блистала,
И надъ тусклую землею
Небо, полное грозою,
Отъ зарницъ все трепетало.

Словно тяжкія рѣсицы
Разверзались порою,
И сквозь бѣглыхъ зарницы
Чьи-то грозныя зѣницы
Загорались надъ землею.

Этотъ поразительный образъ геніально заканчивается поэтомъ въ другомъ стихотвореніи:

Однѣй зарницы огневыя,
Воспламеняясь чередой,
Какъ демоны глухонѣмые,
Ведутъ бесѣду между собой.
Какъ по условленному знаку,
Вдругъ неба вспыхнетъ полоса,

И быстро выступять изъ мраку
Поля и дальне лѣса!
И вотъ опять все потемнѣло,
Все стихло въ чуткой темнотѣ,
Какъ бы таинственное дѣло
Рѣшалось тамъ — на высотѣ...

Частныя явленія суть знаки общей сущности. Поэтъ умѣеть читать эти знаки и понимать ихъ смыслъ. «Таинственное дѣло», заговоръ «глухонѣмыхъ демоновъ» — вотъ начало и основа всей міровой исторіи. Положительное, свѣтлое начало космоса сдерживается эту темную бездну и постепенно преодолѣваетъ ее. Въ послѣднемъ, высшемъ произведеніи мірового процесса — человѣкъ — вѣнчаній свѣтъ природы становится внутреннимъ свѣтомъ сознанія и разума, — идеальное начало вступаетъ здѣсь въ новое, болѣе глубокое и тѣсное сочетаніе съ земною душою; но, соотвѣтственно этому, глубже раскрывается въ душѣ человѣка и противоположное, демоническое начало хаоса. Ту темную основу мірозданія, которую онъ чувствуетъ и видитъ во вѣнчаній природѣ подъ «златотканнымъ покровомъ» космоса, онъ находитъ и въ своемъ собственномъ сознаніи,

И въ чуждомъ, неразгаданномъ, ночномъ
Онъ узнаетъ наслѣдье роковое.

Главное проявление душевной жизни человѣка, открывающееся смыслъ, есть любовь, и тутъ опять нашъ поэтъ сильнѣе и яснѣе другихъ отмѣчаетъ ту самую демоническую и хаотическую основу, къ которой онъ былъ чутокъ въ явленіяхъ внѣшней природы. Этому вовсе не противорѣчитъ прозрачный, одухотворенный характеръ Тютчевской поэзіи. Напротивъ, чѣмъ свѣтлѣе и духовнѣе поэтическое созданіе, тѣмъ глубже и полнѣе, значитъ, было прочувствовано и пережито то темное, *не* духовное, что требуетъ просвѣтленія и одухотворенія.

Жизнь души, сосредоточенная въ любви, есть по основѣ своей злая жизнь, смущающая миръ прекрасной природы:

Что это, другъ? Иль злая жизнь не даромъ,
Та жизнь — увы! — что въ насъ тогда текла,
Та злая жизнь, съ ея мятежнымъ жаромъ,
Черезъ порогъ завѣтный перешла?

Эта злая и горькая жизнь любви убиваетъ и губить:

О, какъ убийственно мы любимъ,
Какъ въ буйной слѣпотѣ страстей

Мы то всего вѣрнѣе губимъ,
Что сердцу нашему милѣй!

И это не есть случайность, а роковая необходимость земной любви, ея предопредѣленіе:

Любовь, любовь,—гласитъ преданье,—
Союзъ души съ душой родной,
Ихъ съединеніе, сочетанье,
И роковое ихъ сліянье,
И поединокъ роковой.

И чѣмъ одно изъ нихъ нѣжнѣе
Въ борьбѣ неравной двухъ сердецъ,
Тѣмъ неизбѣжнѣй и вѣрнѣе,
Любя, страдая, грустно мѣя,
Оно изноетъ наконецъ.

«Злая жизнь», превращающая самую любовь въ роковую борьбу, должна кончиться смертью. Но въ чѣмъ же тогда смыслъ существованія? Смыслъ природы былъ въ созданіи разумнаго существа — человѣка. Но разумъ въ природномъ человѣкѣ оказывается лишь формальнымъ преимуществомъ; онъ не въ силахъ овладѣть самою жизнью, сдѣлать ее разумною и бессмертною; на зло разуму и на погибель человѣка поднимается и въ немъ демоническое и хаотическое безуміе. Какъ въ міровомъ процессѣ природы темное начало хаоса преодолѣвалось внѣшнимъ образомъ, чтобы произвести свѣтлое мірозданіе, увѣнчанное явленіемъ человѣческаго разума, — такъ теперь та же самая темная основа, открывшаяся на новой, высшей ступени въ жизни и сознаніи человѣка, должна быть побѣждена внутреннимъ образомъ, въ самомъ человѣчествѣ и при его собственномъ содѣйствіи. Достойная и вѣчная жизнь, которая требуется, но не дается разумомъ, должна быть добыта духовнымъ подвигомъ. Носитель мірового смысла не можетъ имѣть свой смыслъ *внѣ* себя. Если я, какъ человѣкъ, могу понимать откровеніе абсолютного совершенства и сознательно стремиться къ нему, то зачѣмъ же мнѣ переставать быть человѣкомъ, чтобы достигнуть этого совершенства? Если

мое сознаніе, какъ форма, можетъ вмѣстить безконечное, то зачѣмъ же мнѣ искать другой формы? Очевидно, я долженъ быть не сверхъ-человѣкомъ, а только совершеннымъ человѣкомъ, т.-е. соотвѣтствующимъ въ дѣйствительности идеалу человѣчности.

Смысль человѣка есть онъ самъ, но только не какъ рабъ и орудіе злой жизни, а какъ ея побѣдитель и владыка. Если загадка мірового сфинкса разрѣшена явленіемъ природнаго человѣка, то загадка новаго сфинкса — души и любви человѣческой — разрѣшается явленіемъ духовнаго человѣка, дѣйствительнаго и вѣчнаго царя мірозданія, покорителя грѣха и смерти. И какъ первое явленіе разумнаго сознанія произошло въ природѣ и изъ природы, но не отъ природы, а отъ того разума, который изначала устроилъ самую природу для этого явленія и цѣлесообразно направлять естественный ходъ всемирнаго процесса, — подобнымъ образомъ и первое явленіе совершенной духовной жизни произошло въ человѣчествѣ и изъ человѣчества, но не отъ человѣчества, а отъ Того, Кто изначала вложилъ въ свой образъ и подобіе зародышъ высшаго совершенства, и какъ Грядущій приготовлялъ чрезъ всю исторію необходимыя условія своего дѣйствительнаго воплощенія.

Примкнуть къ «Вождю на пути совершенства», замѣнить роковое и убийственное наслѣдіе древняго хаоса духовнымъ и животворнымъ наслѣдіемъ новаго человѣка, или Сына человѣческаго, — первенца изъ мертвыхъ, — вотъ единственный исходъ изъ «злой жизни» съ ея кореннымъ раздвоеніемъ и противорѣчіемъ, — исходъ котораго не могла миновать вѣщая душа поэта:

О, вѣщая душа моя,	Твой сонъ — пророчески-неясный,
О, сердце полное тревоги,	Какъ откровеніе духовъ...
О, какъ ты бѣешься на порогѣ	Пускай страдальческую грудь
Какъ бы двойного бытія!...	Волнують страсти роковыя, —
Такъ, ты — жилище двухъ міровъ:	Душа готова, какъ Марія,
Твой день — болѣзненный и страстный,	Къ ногамъ Христа на вѣкъ прильнуть...

«Роковое наслѣдіе» темныхъ силъ въ нашей душѣ не есть что-нибудь личное, оно одинаково принадлежитъ всему человѣчеству, — таково же и духовное наслѣдіе Христово: оно явилось не для одиночнаго утѣшенія отдѣльнаго человѣка, а для спасенія всего человѣчества. Но что такое это человѣчество, въ чёмъ оно реально воплощается, гдѣ его дѣйствительное единство? На это у Тютчева былъ опредѣленный отвѣтъ, который я здѣсь только укажу, не оспаривая и не подтверждая его.

Какъ во всей природѣ нашъ поэтъ признавалъ живую душу, которой держится единство и цѣлостность міра, подобнымъ же образомъ онъ признавалъ и живую душу человѣчества, и видѣлъ ее — въ Россіи. Какъ по словамъ одного учителя церкви, душа человѣческая по природѣ христіанка, такъ Тютчевъ считалъ Россію по природѣ христіанскимъ царствомъ. Такъ какъ смыслъ исторіи въ христіанствѣ, то Россія, какъ страна, по преимуществу, христіанская, призвана

внутренно обновить и външнимъ образомъ объединить все человѣчество.

Для Тютчева Россія была не столько предметомъ любви, сколько вѣры — «въ Россію можно только вѣрить». Личныя чувства его къ родинѣ были очень сложны и многоцвѣтны. Было въ нихъ даже нѣкоторое отчужденіе, съ другой стороны — благоговѣніе къ религіозному характеру народа: «всю тебя, земля родная, — въ рабскомъ видѣ — Царь Небесный исходилъ, благословляя», — бывали въ нихъ, наконецъ, минутныя увлеченія самимъ обыкновеннымъ шовинизмомъ.

Тютчевъ не любилъ Россію той любовью, которую Лермонтовъ называетъ почему-то «странною». Къ русской природѣ онъ скорѣe чувствовалъ антипатію. «Сѣверъ роковой» былъ для него «сновидѣніемъ безобразнымъ»; родная мѣста онъ прямо называетъ *не милыми*:

Итакъ, опять увидѣлся я съ вами,
Мѣста немилыя, хоть и родныя,
Гдѣ мыслишь я и чувствовалъ впервые.

Ахъ, нѣть! не здѣсь, не этотъ край безлюдный
Быть для души моей родимымъ краемъ,
Не здѣсь расцвѣть, не здѣсь быть величаемъ
Великій праздникъ молодости чудной!
Ахъ, и не въ эту землю я сложилъ
То, чѣмъ я жилъ и чѣмъ я дорожилъ!...

Значить его вѣра въ Россію не основывалась на непосредственномъ органическомъ чувствѣ, а была дѣломъ сознательно выработанаго убѣжденія. Первое, еще неопределеннное, но зато высоко-поэтическое выраженіе этой вѣры онъ далъ еще въ молодости — въ прекрасномъ стихотвореніи: «На взятіе Варшавы». Въ своей борьбѣ съ братскими народомъ Россія руководилась не звѣрскими инстинктами, а только необходимостью «державы цѣлостъ соблюсти», для того, чтобы —

Славянъ родныя поколѣнья
Подъ знамя русское собрать
И вѣсть на подвигъ просвѣщенья
Единомысленную рать.
И это высшее созданье
Вело нашъ доблестный народъ;

Путей небесныхъ оправданье
Онъ смѣло на себя беретъ.
Онъ чуетъ надъ своей главою
Звѣзду въ незримой высотѣ,
И неуклонно за звѣздою
Идетъ къ таинственной мечтѣ.

Эта вѣра въ высокое призваніе Россіи возвышаетъ самого поэта надъ мелкими и злобными чувствами національного соперничества и грубаго торжества побѣдителей. Необычно у патріотическихъ пѣвцовъ гуманностью дышать заключительные стихи, обращенные къ Польшѣ:

Ты же, братскою стрѣлой пронзенный,
Судебѣ свершая приговоръ,
Ты паль, орель одноплеменный,
На очистительный костеръ!

Вѣрь слову русскаго народа:
Твой пепль мы свято сбережемъ,
И наша общая свобода,
Какъ Фениксъ возводится въ немъ!

Позже — въра Тютчева въ Россію высказывалась въ пророчествахъ болѣе опредѣленныхъ. Сущность ихъ въ томъ, что Россія сдѣлается всемирно христіанской монархіей, —

...и перейдетъ во вѣкъ,
Какъ то провидѣлъ Духъ и Даниилъ предрекъ.

Одно время условіемъ для этого великаго события онъ считалъ соединеніе Восточной церкви съ Западною чрезъ соглашеніе Царя съ Папой, но потомъ отказался отъ этой мысли, находя, что папство несомнѣнно со свободой совѣсти, т.-е. съ самою существенною принадлежностью христіанства.

Отказавшись отъ надежды мирнаго соединенія съ Западомъ, нашъ поэтъ продолжалъ предсказывать превращеніе Россіи во всемирную монархію, простирающуюся, по крайней мѣрѣ до Нила и до Ганга съ Царьградомъ, какъ столицей. Но эта монархія не будетъ, по мысли Тютчева, подобиемъ звѣрина го царства Навуходоносорова, — ея единство не будетъ держаться насилиемъ. По поводу извѣстнаго изреченія Бисмарка, Тютчевъ противопоставляетъ другъ другу *два единства*:

«Единство» — возвѣстилъ оракулъ нашихъ дней —
«Быть можетъ спаено желѣзомъ лишь и кровью»;
Но мы попробуемъ спаять его любовью, —
А тамъ увидимъ, что прочнѣй...

Великое призваніе Россіи предписываетъ ей держаться единства, основаннаго на духовныхъ началахъ; не гнилою тяжестью земного оружія должна она облечься, а «чистою ризою Христовою».

Надѣй этой темною толпой
Непробужденнаго народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснетъ ли лучъ твой золотой?
Блеснетъ твой лучъ и оживить,
И сонъ разгонитъ и туманы...

Но старыя, гнилые раны,
Рубцы насилий и обидъ,
Растлѣнныя душъ и пустота,
Что гложеть умъ и въ сердцѣ ноетъ...
Кто ихъ излѣчить, кто прикроетъ? —
Ты, риза чистая Христа...

Мнѣ остается только прибавить нѣсколько словъ, чтобы изъ патріотическихъ пророчествъ нашего поэта извлечь ихъ окончательный смыслъ.

Допустимъ, становясь на точку зреянія Тютчева, что Россія — душа человѣчества. Но, какъ въ душѣ природнаго міра, и въ душѣ отдельнаго человѣка свѣтлое духовное начало имѣетъ противъ себя темную хаотическую основу, которая еще не побѣждена, еще не подчинилась высшимъ силамъ, — которая еще борется за преобладаніе и влечетъ къ смерти и гибели, — точно такъ же, конечно, и въ этой собирательной душѣ человѣчества, т.-е. въ Россіи. Ея жизнь еще не опредѣлилась окончательно, она еще двоится, увлекаемая въ разныя стороны противоборствующими силами. Воплотился ли уже въ ней свѣтъ истины Христовой; спаяла ли она единство всѣхъ

своихъ частей любовью? Самъ поэтъ признаетъ, что она еще не покрыта ризою Христа.

Значить, — можно сказать поэту, — судьба Россіи зависить не отъ Царьграда и чего-нибудь подобного, а отъ исхода внутренней нравственной борьбы свѣтлого и темнаго начала въ ней самой. Условіе для исполненія ея всемірнаго призванія есть внутренняя побѣда добра надъ зломъ въ ней, а Царьградъ и прочее можетъ быть только слѣдствіемъ, а никакъ не условіемъ желаннаго исхода. Пусть Россія, хотя бы безъ Царьграда, хотя бы въ настоящихъ своихъ предѣлахъ, станетъ христіанскимъ царствомъ въ полномъ смыслѣ этого слова — царствомъ правды и милости — и тогда все остальное, — навѣрное, — приложится ей.

Владимиръ Соловьевъ.

Тютчевъ, какъ поэтъ созерцатель.

Группа стихотвореній Тютчева, посвященныхъ изображенію, вѣрнѣе, одухотворенію природы, представляетъ нечто самобытное, рѣзко выдѣляющее этого художника изъ среды другихъ *dii minores* нашей поэзіи. Отъ проникнутаго непосредственнымъ созерцаніемъ стихотворенія «Весеннія воды» до строго продуманнаго гимна природѣ въ извѣстной пьесѣ «Не то, что мните вы, природа» поэтическое чувство Тютчева пережило немало перипетій; его серіозная, вдумчивая муга брала немало аккордовъ, извлекала много нѣжныхъ, тонкихъ звуковъ изъ этого вѣчно живого органа боговъ, вдохновлявшаго всѣхъ истинныхъ художниковъ. Тютчевъ стяжалъ себѣ славу одного изъ наиболѣе глубокихъ и отзывчивыхъ поэтовъ природы. Для него природа «не слѣпокъ, не бездушный ликъ».

Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

Исканіе этой души природы, дѣлающее Тютчева, по выраженію одного изъ цѣнителей его поэзіи (Чешихина), «русскимъ пантегистомъ, точнѣе панпсихистомъ, налагаетъ рельефный отпечатокъ на все творчество этого симпатичнаго поэта. Не даромъ онъ сѣтуетъ о тѣхъ несчастныхъ, для которыхъ мертвага эта живая природа, этотъ *alter ego* человѣческаго духа.

Лучи къ нимъ въ душу не сходили,
Весна въ груди ихъ не цвѣла,
При нихъ лѣса не говорили,
И ночь въ звѣздахъ нѣма была.

Нельзя проще и лучше выразить все обаяніе этой таинственной, но близкой человѣкѣ природы. Поэтъ постигаетъ ее не только въ цѣломъ, для него ясна не одна общая гармонія этой спутницы

поэта въ раскрытии сущности жизни, ему одинаково близки и «корткая улыбка увяданья», и «умильная, таинственная прелестъ» осеннихъ вечеровъ, и ропотъ лѣсныхъ исполиновъ, и «что-то радостно родное», что въ это время для него — «Вѣтъ, свѣтится во всемъ». «Все во мнѣ, и я во всемъ» — говорить этотъ созерцатель, такъ-чутько постигающій «возвышенную стыдливость страданія» этой суровой и величественной для другихъ (напр. Тургенева) природы.

Для него

Обвѣянъ вѣщою дремотой,
Полураздѣтый лѣсь груститъ.
Гдѣ смертной жизни мѣста нѣтъ,
И легче и пустынно чище
Струя воздушная течетъ,
Туда взлѣтая, духъ нѣмѣтъ,

Лишь жизнь природы тамъ слышна,
И нѣчто праздничное вѣтъ,
Какъ дней воскресныхъ тишина.
На всемъ улыбка, жизнь на всемъ.
Миръ цвѣтующій, миръ природы
Избытокъ жизни упоенъ.

Въ этомъ избыткѣ жизни для нашего поэта открывается много-родственаго человѣческой душѣ. Его не плѣняютъ, какъ Майкова и Фета, свѣтлыя, яркія краски природы, ея блескъ и очарованіе; онъ по настроению своей музы ближе къ А. Толстому и Полонскому, для которыхъ природа чувствуетъ и мыслитъ, говоритъ живымъ человѣческимъ языкамъ.

Тютчевъ тѣмъ болѣе склоненъ постигать не только «живой языкъ природы», но и проникающій ее духъ, что онъ, по самому существу своей натуры, далекъ отъ жизни, подчасъ совершенно чуждъ ей. Его тонкую, артистическую натуру пугаетъ «кругъ убийственныхъ заботъ». «Все мерзитъ; жизнь, какъ камней груда, лежить на насть».

Наиболѣе типичнымъ въ этомъ смыслѣ является его известное стихотвореніе «Silentium», восхищавшее Ап. Григорьева.

Молчи, скрывайся и тай
И чувства и мечты свои!
Пускай въ душевной глубинѣ
И всходить и зайдутъ онѣ,
Какъ звѣзды ясныя въ ночи:
Любуйся ими и молчи!
Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи!
Лишь жить въ самомъ себѣ умѣй:
Есть цѣлый миръ въ душѣ твоей
Таинственно волшебныхъ думъ;
Ихъ заглушить наружный шумъ,
Дневные обѣнять лучи;
Внимай ихъ пѣнью и молчи!

Для Тютчева, любящаго грозу въ началѣ мая, одинаково веселье грохотъ лѣтнихъ бурь и тихій, томный, благовонный сумракъ, успокаивающій тревожныя думы. Пестрый калейдоскопъ жизни тяготитъ того, кому такъ близка, родственна природа, чья душа переживаетъ свои лучшія минуты на лонѣ этого друга поэтовъ. Отрѣшившись отъ индивидуализма и субъективности, свойственныхъ Полонскому, Плещееву, К. Р., Тютчевъ возвышается до той высоты художествен-

наго созерцанія, на которой исчезаютъ, по выраженію Тургенева, всѣ земныя суетности. Не даромъ онъ говоритъ о себѣ:

Душа моя — элизіумъ тѣней!
Тѣней безмолвныхъ, свѣтлыхъ и прекрасныхъ...
Ни радостямъ ни горю не причастныхъ.
Душа моя — элизіумъ тѣней!
Что общаго межъ жизнью и тобою,
Межъ вами, призраки минувшихъ лучшихъ дней,
И сей безчувственной толпою?

Въ стихотвореніи Malaria поэтъ отрѣшается отъ обычныхъ чувствъ альтруизма въ угоду этой безпощадной, но закономѣрной природѣ. Его не смущаетъ, какъ Тургенева, равнодушно-безпощадное отношеніе природы къ человѣку; напротивъ, онъ, не стѣсняясь, говоритъ:

Люблю сей Божій гнѣвъ! Люблю сіе, незримо
Во всемъ разлитое, таинственное зло.

Въ пропитанной тлетворнымъ ядомъ природѣ поэтъ склоненъ искать

Предвестниковъ для насъ послѣдняго часа
И уладителей послѣдней нашей муки.

Впрочемъ, къ чести Тютчева нужно замѣтить, что это антипатичное по мысли стихотвореніе у него, можно сказать, единственное. Въ большинствѣ другихъ, наравнѣ съ любовью къ природѣ, проявляется и сочувствие къ людямъ, особенно несчастнымъ и обездоленнымъ; наиболѣе известное изъ нихъ «Пошли Господь свою отраду».

Несмотря на отчужденіе отъ людей, отъ жизни, презрѣніе къ буйной толпѣ, Тютчева нельзя назвать пессимистомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ это название приложимо, напримѣръ, къ Баратынскому. Природа для него не представляетъ чего-либо похожаго на неразгаданный сфинксъ, подавляющій смертнаго своимъ роковымъ величиемъ. Въ ея скрытой прелести, разнообразіи и своеобразной жизни поэтъ почерпаетъ отраду и бодрость духа. Сдержанній Тютчевъ подчасъ проникается даже тихимъ, фетовскимъ восторгомъ, какъ это показываетъ его известное стихотвореніе «Тихой ночью, позднимъ лѣтомъ», написанное вполнѣ въ духѣ Фета.

Для Тютчева многосторонній Гёте, этотъ величайшій художникъ — пантеистъ, является

На древѣ человѣчества высокомъ
лучшимъ его листомъ.

Воспитанный его чистѣйшимъ сокомъ
Развить чистѣйшимъ солнечнымъ лучомъ,

Гёте при жизни

Пророчески бесѣдоватъ съ грозою
Иль весело съ зефирами игралъ...
И самъ собою паль — какъ изъ вѣнка.

Сліяніе человѣка и природы въ лицѣ величайшаго генія поэта, облеченнное въ форму своеобразнаго, красиваго сравненія, выражаетъ наиболѣе глубокую симпатію Тютчева, который въ образахъ природы, какъ и Пушкинъ, видѣлъ лучшее олицетвореніе жизни. Отзывъ поэзіи Баратынскаго на смерть творца Фауста производить совершенно иное впечатлѣніе. Въ немъ видно возвышеніе человѣка надъ міромъ этой живой природы, проникновеніе его духа въ тайны бытія. Мысль Тютчева не шла такъ далеко; она не раздвигала этихъ рамокъ, не отрывалась отъ окружающей дѣйствительности, то смыло заглядывая въ будущее, то подводя философскіе итоги пережитому. Въ Тютчевѣ поклонникъ чистаго искусства бралъ верхъ надъ мыслителемъ. Образы природы для него были полны обаянія, проникнуты той чарующей прелестью, которая нашла себѣ счастливое выраженіе въ его поэзіи. Всѣ явленія природы, отъ самыхъ заурядныхъ до поражающихъ своею грандіозностью, находять въ Тютчевѣ тонкаго цѣнителя. Правда, въ смыслѣ мотивовъ, трактующихъ о природѣ, Тютчевъ бѣднѣе Фета, а по яркости красокъ и пластичности онъ стоитъ ниже Майкова, но неотъемлемое достоинство его поэзіи—ея искренность, простота, проникновеніе образа сознательною мыслью и свѣтлымъ чувствомъ. Въ изображеніи природы эти свойства чувствуются какъ-то сильнѣе. Тютчевъ мастеръ давать не особенно яркія, но вполнѣ законченныя картины повседневныхъ явленій природы. Таковы стихотворенія «Восходъ солнца», «Утро въ горахъ», «Весенняя гроза», «Смотрю, какъ роща зеленѣеть», «Полдень», «Въ душномъ воздухѣ молчанье», «Есть въ осени первоначальной» и мн. др. Эти простыя вещи лучше всего знакомятъ насъ съ поэтическими приемами творчества Тютчева, чуждыми искусственности, рефлексіи, вытекающими изъ свойствъ души поэта. Тютчевъ въ нихъ вѣренъ своему взгляду на поэзію, выраженному въ одномъ изъ его лучшихъ стихотвореній. Изъ этихъ отдѣльныхъ образовъ при послѣдовательномъ перечитываніи стихотвореній получается художественная мозаика, довольно полно отражающая всю сумму образовъ и впечатлѣній природы. Особенно дороги Тютчеву моменты пробужденія и увяданія природы. Его извѣстная стихотворенія, посвященные веснѣ и осени, рисуютъ намъ непрityзательное настроеніе отзываиваго человѣка, способнаго любить и понимать природу. Гонцы молодой весны, будящіе сонный берегъ, молодые раскаты весенней грозы, хороводы тихихъ теплыхъ майскихъ дней, все это детали большой картины обновленія природы, генія жизни, по выражению одного стараго поэта. Это «животворный океанъ» красокъ, звуковъ, неизвѣданыхъ чувствъ, столь цѣнимая Тютчевымъ полнота жизни. Весна

Свѣтла, блаженно-равнодушна;
Какъ подобаетъ божествамъ.

Она— отраженіе «божески-всемірной» жизни, врачающая людскія сердца. Это «прекрасное дитя» олицетворено Тютчевымъ и въ стихотвореніи, написанномъ народнымъ складомъ, противорѣчащемъ обыч-

ному тону и складу его поэтическихъ пьес («Зима не даромъ злится»). Въ контрастѣ пышному расцвѣту жизни для Тютчева заключены источники пріятнаго, слегка грустнаго чувства. «Короткая, но дивная пора первоначальной осени» съ ея чистой и теплой лазурью, туманная и тихая лазурь надъ грустно сиротѣющей землею, кроткое увяданье природы настраиваетъ душу поэта особеннымъ образомъ. Все говоритъ ему о дорогой уходящей жизни, дарящей его прощальной улыбкою («Обвѣянъ въ Ѣщею дремотой»). Болѣе частичны у Тютчева изображенія лѣта; лучшія изъ нихъ уже упомянутое «Тихой ночью, позднимъ лѣтомъ» и «Какъ весель грохотъ зимнихъ бурь». Подъемъ чувствъ, вызываемый наиболѣе рѣзкими проявленіями жизни природы, конечно, до нѣкоторой степени исключалъ детальную обработку темъ другого рода, въ которыхъ изображается тихое законченное уже теченіе этой жизни природы.

Не въ этомъ ли свойствъ творчества Тютчева нужно искать и причины его предпочтенія южной природы? «Милый» для Лермонтова сѣверъ, привлекавшій нашихъ поэтовъ (Некрасова, Плещеева, К. Р.), для Тютчева имѣеть мало цѣны. Сновидѣніемъ безобразнымъ Скрылся сѣверъ роковой; Сводомъ легкимъ и прекраснымъ, Свѣтить надо мнай. Снова жадными очами Свѣтъ живительный я пью И подъ чистыми лучами Край волшебный узнаю.

Такими словами привѣтствуетъ поэтъ «блаженный» югъ. Стихотвореніе «Давно лѣтъ, давно лѣтъ, о югъ блаженный» выражаетъ восхищеніе поэта этой чудной страной, которую онъ сравниваетъ съ эдемомъ. «На золотомъ, на свѣтломъ югѣ» поэтъ

Заслушивался пѣнья
Великихъ средиземныхъ волнъ,
забывалъ Киммерийской грустной ночи
Сонный хладъ.

Стоя надъ Невой, поэтъ

вспомнилъ грустно, молчаливо,
Какъ въ тѣхъ странахъ, где солнце грѣетъ,
Теперь на солнцѣ пламѣнѣть
Роскошный Генуи заливъ.

Эти краски юга у Тютчева служатъ комментариемъ къ извѣстному выраженію Пушкина

Наше сѣверное лѣто карикатура южныхъ зимъ.

Въ стихотвореніи «Дорога изъ Кенигсберга въ Петербургъ» Тютчевъ рисуетъ унылый ландшафтъ, указывая всѣ преимущества роскошной южной природы.

Ни звуковъ здѣсь ни красокъ, ни движенья;
Жизнь отошла и, покорясь судьбѣ,
Въ какомъ-то забытии изнеможенъ,
Здѣсь человѣкъ лишь снится самъ себѣ.

Какъ свѣтъ дневной, его тускнѣютъ взоры;
Не вѣрить онъ, хоть видѣлъ ихъ вчера,
Что есть края, где радужныя горы
Въ лазурныхъ глядятся озера,

Стихотворенія «Римъ ночью», «Альпы», «Ницца», «Женева», «Венеция» (послѣднее съ историческимъ колоритомъ) дополняютъ изображеніе юга. Волшебный міръ съ грозными и туманными, словно падшіе цари, Альпами, лазурная гладь женевскихъ водъ, ледяныя выси, играющія съ лазурью неба огневой, такими красками рисуется у Тютчева обаяніе южной природы.

Впечатлѣніями юга навѣяно и известное стихотвореніе Тютчева «Какъ хорошо ты, о море ночное». Поразительная краса водной стихіи, вызвавшая шедевры Пушкина и Байрона, Гейне и Полежаева, плѣнила и Тютчева; обаяніе моря въ его безконечномъ просторѣ, блескѣ, движеніи, грохотѣ валовъ и шумѣ волнъ неотразимо вліяютъ на душу поэта, потопляютъ ее въ этомъ волненіи, въ этомъ сіяніи. Плаваніе по тихому морю въ звѣздную ночь полно такой же прелести, какъ и созерцаніе освѣщенаго луной моря (стих. «Плаваніе»). Вообще пробужденіе водной стихіи знаменуетъ для поэта «смертной мысли водометъ, водометъ неотразимый». Въ изящномъ стихотвореніи «Фонтанъ» проводится мысль о тщетѣ человѣческихъ духовныхъ стремленій, подчиненныхъ неизбѣжнымъ роковымъ законамъ. Сливающіяся съ роковой бездной, безразличныя, какъ стихія, льдины служатъ эмблемой обольщенія нашей мысли, нашего «человѣческаго я».

Подъ вліяніемъ близости къ природѣ въ душѣ поэта развивается своего рода фатализмъ, слабое довѣріе къ силамъ и способностямъ человѣка; выраженіемъ этого безсилія ума и воли, подавляемыхъ внѣшними силами, является небольшое восьмистишіе, которое можетъ быть разсмотриваемо, какъ своего рода поэтическое исповѣданіе Тютчева. Приводимъ его.

Не разсуждай, не хлопочи...
Безумство ищетъ, глупость судить;
Дневныя раны сномъ лѣчи,
А завтра быть тому, что будетъ.

Жива, умѣй все пережить:
Печали, радость и тревогу.
Чего жалѣть, о чемъ тужить?
Вѣдь день прошелъ — и слава Богу.

Выводъ безотрадный, но неизбѣжный для того, кто видѣть въ человѣкѣ и его могучей мысли лишь слабое отраженіе игры «внѣшнихъ тайныхъ силъ», кто, какъ нашъ поэтъ, склоненъ признавать

Тотъ же все вѣчный прибой и отбой,
Тотъ же все призракъ тревожно пустой,

въ тѣсномъ сердцѣ и въ безбрежномъ морѣ видѣть проявленія одной стихіи въ смынѣ думъ и волнъ:

Судьба, какъ вихрь, людей мятетъ,

таковъ выводъ поэзіи Тютчева.

Эстетики художественного пантеизма нужно искать у Тютчева, въ группѣ стихотвореній, посвященныхъ изображенію ночи, звѣзднаго неба, обаянія ночной тишины, плѣнявшей столькихъ поэтовъ.

Въ стихотвореніи «День вечерѣть, ночь близка» поэтъ говоритъ, что въ царствѣ ночныхъ волшебныхъ призраковъ

благодатная будетъ тѣнь
для очарованной души.

«Римъ ночью», «Ночные голоса», «О чѣмъ ты воешь, вѣтръ ночной», «Святая ночь на небосклонѣ взошла», «Видѣніе», «Ночное небо такъ угрюмо» и др. стихотворенія объединены одною мыслью—вліяніемъ этой таинственной поры на душу поэта. Тотъ же тонъ слышенъ у Полонскаго въ его страстномъ томлѣніи, въ обращеніи къ ночи, лунному свѣту, звѣздамъ; но у Полонскаго эти мотивы относятся къ ранней порѣ творчества. У Тютчева они составляютъ одинъ изъ основныхъ мотивовъ его поэзіи. Иногда поэта пугаетъ эта темная бездна:

День отрадный, день любезный,
Какъ золотой коверъ...
..... накинутый надъ бездной,

смѣняется ночью.

И, какъ видѣнье, вѣнчаній міръ ушелъ...
И человѣкъ, какъ сирота бездомный,
Стоить теперь и немощенъ и голъ.
Лицомъ къ лицу предъ этой бездной темной.
И чудится давно минувшимъ сномъ
Теперь ему все свѣтлое, живое,
И въ чуждомъ, неразгаданномъ ночномъ
Онъ узнаетъ наслѣдье роковое.

«Ночь хмурая, какъ звѣрь стоокій», не можетъ уничтожить обаянія ночныхъ голосовъ въ царствѣ волшебныхъ призраковъ. Поэту

не страшенъ мракъ ночной,
Не жаль скучдающаго дня.

«Часы всемірного молчанья», «оный часъ явленій и чудесъ», когда

Живая колесница мірозданья
Открыто катится въ святилищѣ небесъ,
Полонъ таинственного величія.

Музы дѣвственную душу
Въ пророческихъ тревожать боги снахъ.

Вѣчныя звѣзды Лермонтова, Гейне и Фета у Тютчева однѣ освѣщаютъ юдоль земного существованія, напоминая о другомъ высшемъ мірѣ. Для поэта

Таинственно, какъ въ первый день созданья,
Въ бездонномъ небѣ звѣздный сонъ горитъ.
Небесный сводъ, горящій славой звѣздной,
Таинственно глядѣть изъ глубины,

освѣщаѧ уснувшій городъ.

Въ черномъ выспреннемъ предъѣлѣ
Звѣзды яркія горѣли,
Отвѣчая смертнымъ взглядамъ
Непорочными лучами.

Эта тѣсная связь между вѣчными міровыми свѣтилами и душой человѣка прекрасно выражена въ стихотвореніи «Душа хотѣла бъ быть звѣздой».

Порываніе смертнаго къ безконечному на лонѣ природы находить свое выраженіе въ созерцаніи этихъ дивныхъ «свѣточей неба», идеальная красота и величие которыхъ такъ художественно изображены Фетомъ, Хомяковымъ и К. Р. У Тютчева есть олицетвореніе Россіи въ изображеніи звѣзды, скрывающейся за туманомъ. Эта звѣзда для него не оптическій обманъ, не пустой и ложный метеоръ; она также близка его душѣ, какъ и величественный закатъ жизни и поэзіи Жуковскаго, который Тютчевъ сравниваетъ съ звѣздами.

Я видѣлъ вечеръ твой: онъ былъ прекрасенъ!
. и тихъ и ясень
И весь насквозь проникнуть теплотой...
О, какъ они и грѣли и сияли—
Твои, поэтъ, прощальныя лучи...
А между тѣмъ замѣтно выступали
Ужъ звѣзды первыя въ его ночи.

Для поэта чувство и мечты всходять и заходятъ въ душевной глубинѣ,

Какъ звѣзды ясныя въ ночи.

Проникнутый чувствомъ духовнаго общенія съ природой, отзывчивый на ея явленія, Тютчевъ долженъ былъ смотрѣть сквозь дымку художественнаго пантеизма. Неизбѣжный для мыслящаго поэта антагонизмъ съ жизнью выливается у Тютчева въ болѣе мягкия, симпатичныя формы раздумья надъ происходящимъ вокругъ или сочувствія къ страждущимъ въ жизни людямъ. Мягкая натура поэта исключила проявленіе какихъ-либо рѣзкихъ выражений чувства недовольства. Самъ Тютчевъ говорить о себѣ:

Я слышалъ утреннія грезы
Лишь пробудившагося днія.
Но позднія, живыя грозы
Но взрывъ страстей, но страсти слезы...
Нѣть это все не для меня.

Примиреніе съ жизнью такой поэтъ, какъ Тютчевъ, находить не въ одной природѣ. Для него открыть и внутренній міръ, область чувствъ. Въ приведенномъ выше стихотвореніи «Silentium» поэтъ раскрываетъ предъ нами этотъ «міръ таинственно волшебныхъ думъ»;

это, съ одной стороны, «Элизіумъ тѣней, безмолвныхъ, свѣтлыхъ и прекрасныхъ», съ другой — стремленіе къ совершенству и цѣльности бытія (ст. «Я зналъ ее еще тогда»). «Злая жизнь съ ея мятежнымъ жаромъ» заставляетъ сказать

Прости всему, чѣмъ сердце жило.

Круковскій.

Поэзія Тютчева, какъ выразительница внутренняго міра поэта.

Обращаясь къ своему внутреннему міру, Тютчевъ такъ опредѣляетъ его свойства:

О, вѣщая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, какъ ты бѣшься на порогѣ
Какъ бы двойного бытія!...

Это «жилище двухъ міровъ»

не выстрадаетъ счастья,
Но можетъ выстрадать себя.

Въ прекрасныхъ отзывахъ душахъ соединяется «земное очарованіе и неземная благодать». Поэтому ихъ страданіе вызываетъ въ лирѣ Тютчева трогательные, глубоко прочувствованные аккорды тихой грусти. Въ прекрасномъ стихотвореніи «Слезы» поэтъ постигаетъ всю глубину скрытаго человѣческаго горя. Стихотворенія на случай или же посвященные извѣстнымъ поэту лицамъ носятъ на себѣ яркій слѣдъ этого благороднаго, чуткаго альтруизма («Когда на то нѣть Божьяго согласья», «Memento», «При посыпкѣ новаго завѣта», «Какъ неразгаданная тайна»); Сочувствіе тѣмъ,

Чья душа такъ царственно свѣтла,
Кто до конца сберегъ ее живою,

придаетъ поэзіи Тютчева особую духовную силу. Обращаясь къ одной изъ подвижницъ жизненной борьбы, Тютчевъ преклоняется предъ нею за то, что она

не измѣнила ни себѣ.

Ты биласъ съ мужествомъ немногихъ.
говорить онъ,—

И въ этомъ роковомъ бою

Изъ испытаній самыхъ строгихъ
Всю душу вынесла свою.

Для такихъ душъ, какъ и для самого поэта, не лишены значенія утѣшения религіи.

всей душой, какъ къ изголовью, припасть къ вѣчной книгѣ милосердія и любви и отдохнуть на ней — вотъ совѣтъ, даваемый поэтомъ всѣмъ изнемогающимъ въ тяжелой жизненной борьбѣ.

Тютчевъ, какъ мы уже сказали выше, не пессимистъ. Утьхи жизни, конечно, болѣе высокаго свойства не чужды его уравновѣшеннѣй и благородной натуры. Онъ сѣтуетъ, что

Въ груди осиротѣлой,
Убитый хладомъ бытія,
Не льется юности веселой,
Не блещеть рѣзвая струя.

Передъ святыней красоты

Душа хотъла бы молиться,
А сердце рвется обожать.

Онъ хочетъ продлить очарованіе блаженства и безнадежности послѣдней любви («Послѣдняя любовь»); онъ знаетъ и иныхъ, жгучія наслажденія, угрюмый, тусклый огонь желанья. Впрочемъ, мотивы послѣдняго рода у Тютчева единичны.

Чистоту и глубину чувства онъ изображаетъ въ стихотвореніи «Не вѣрь, не вѣрь поэту, дѣва!»

Страшись поэтов любви.
Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой,
Огня палящаго не скроешь
Подъ легкой дѣвственной фатой.
Поэтъ всесиленъ, какъ стихія,
Не властенъ лишь въ себѣ самомъ.

Невольно кудри молодыя
Онъ обожжетъ своимъ вѣнцомъ.
Твоей святыни не нарушить
Поэта чистая рука,
Но ненарокомъ жизнь задушить,
Иль унесеть за облака.

Здѣсь мы видимъ одно изъ пушкинскихъ «дѣтей ничтожныхъ міра», до котораго не всегда долетаетъ «божественный глаголь». И въ самомъ опредѣленіи поэзіи Тютчевъ приближается къ Пушкину.

«Прими́рительный елей поэзии, небесной гостьи», есть лучший залог гармонии

Среди громовъ, среди огней
Среди клокочущихъ зыбей
Въ стихийномъ пламенномъ раздорѣ.

Курковскій.

Тютчевъ, какъ поэтическій изобразитель настроенія.

Какъ поэтическій изобразитель настроенія, Тютчевъ является намъ въ разныхъ видахъ — то равнодушный¹⁾, то полный надеждъ на лучшее²⁾, то, наконецъ, погруженный въ тоску. Это послѣднее на-

¹⁾ Изд. 2-е, 174.

²⁾ Ibid. 164, 225—226.

строение возникает въ немъ очень рано. Еще въ 1820 годахъ онъ пишетъ:

Сумракъ тихій, сумракъ сонный,
Петя въ глубь моей души,
Тихій, томный, благовонный
Все залей и утиши.

Чувства мглой самозабвенья
Переполни черезъ край,
Дай вкусить уничтоженья,
Съ міромъ дремлющимъ смѣшай¹⁾.

Быть-можетъ, сначала эта тоска была лишь временной реакцией молодости и жизни; однако она потомъ переходитъ у Тютчева въ то особое пессимистическое душевное настроение, съ оттенкомъ «мировой скорби», которое такъ свойственно некоторымъ представителямъ нашей литературы, напримѣръ, Тургеневу. Поэтъ тяготится томительнымъ, однообразнымъ ходомъ своей жизни; онъ чувствуетъ себя одинокимъ:

Какъ надъ горячей золой
Дымится свитокъ и егораетъ,
И огнь, скрытый и глухой,
Слова и строки пожираетъ:
Такъ грустно тлится жизнь моя
И съ каждымъ днемъ уходитъ дымомъ:

Такъ постепенно гасну я
Въ однообразныи нестерпимомъ...
О, небо, если бы хоть разъ
Сей пламень развился на волѣ,
И, не томясь, не мучась долѣ
Я просіялъ бы — и погасъ²⁾.

Душа моя — элизіумъ тѣней,
Тѣней безмолвныхъ, свѣтлыхъ и пре-
красныхъ,
Ни замысламъ годины буйной сей
Ни радостямъ ни горю не причастныхъ.

Душа моя, элизіумъ тѣней,
Что общаго межъ жизнью и тобою?
Межъ вами, призраки минувшихъ луч-
шихъ дней,
И сей безчувственной толпой³⁾?

Это же настроение приводитъ Тютчева и къ созданию стихотворенія *Silentium*, одного изъ первовъ нашей лирической поэзіи, въ которомъ съ замѣчательною яркостію выразилось и субъективное настроение поэта, гордаго въ своемъ одиночествѣ, и мысль о непрерходности того предѣла, который положенъ между душевными настроениями и обычными, хотя бы и самыми совершенными способами его выраженія:

Молчи, скрывайся и тай
И чувства и мечты свои!
Пускай въ душевной глубинѣ
Какъ сердцу высказать себѣ?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?
Лишь жить въ самомъ себѣ умѣй:
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
Тайнственно-волшебныхъ думъ;

И всходятъ и зайдутъ онѣ,
Какъ звѣзды ясныя въ ночи:
Любуйся ими и молчи!
Мысль изреченная есть ложь.
Взывая, возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи!
Ихъ заглушить наружный шумъ,
Дневные ослѣпять лучи:
Внимай ихъ пѣнью и молчи⁴⁾.

¹⁾ Ibid. 29.

²⁾ Ibid. 93.

³⁾ Ibid. 110.

⁴⁾ Ibid. 103—104.

Однако въ этомъ настроеніи есть и своеобразное наслажденіе для поэта — правда, эгоистическое. Противоположны ему являются такія стихотворенія Тютчева, гдѣ онъ проникается чужимъ страданіемъ, чувствуетъ своимъ сердцемъ чужую горькую долю:

Слезы людскія, о слезы людскія,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя, Непостижимыя, неисчислимыя,
Льетесь какъ льются струи дождевыя
Въ осень глухую, пороюночно¹⁾.

Сюда же относится и великолѣпное стихотвореніе «Пошли, Господь, свою отраду», въ которомъ красота наслажденія соперничаетъ съ глубиной чувства²⁾.

Плутуховъ.

Художественные пріемы въ изображеніи природы Тютчева.

Въ творчествѣ Тютчева можно различать двѣ струи: одну — аполлоновскую, свѣтлую, жизнерадостную, отражающую жизнь такъ, какъ она представляется острому и ясному взору художника; другую — діонисійскую, бьющую темной и кипучей волной изъ самыхъ нѣдръ души поэта, полную мистическихъ, прозрѣній и холоднаго ужаса. Вотъ эта вторая струя и составляетъ истинную основу творческой индивидуальности Тютчева, его право на совершенно особое, самостоятельное мѣсто среди русскихъ поэтовъ. Откиньте произведенія, въ которыхъ сказалось вѣяніе діонисійского начала, и поэзія Тютчева лишится самаго яркаго признака своей самобытности. Этимъ мы, однако, нисколько не хотимъ умалить художественной цѣнности другихъ его произведеній, проникнутыхъ аполлоновскимъ духомъ: мы хотимъ только сказать, что не въ нихъ нужно искать самаго интимнаго, что придаетъ Тютчеву ярко-определенную и оригиналную физіономію, что рѣзко выдѣляетъ его среди другихъ русскихъ поэтовъ.

Аполлоновское начало въ творчествѣ Тютчева сказывается преимущественно въ его чисто-художественныхъ пьесахъ, въ которыхъ поэтъ ограничивается изображеніемъ вѣшняго міра или своихъ внутреннихъ переживаній, не пытаясь проникнуть въ интимную сущность этихъ явленій. Напротивъ того, діонисійскимъ духомъ отмѣчены именно тѣ лирическія произведенія Тютчева, которые носятъ философскій характеръ, въ которыхъ онъ выступаетъ, какъ мыслитель, какъ искатель истины, пытающійся заглянуть въ заповѣдныя глубины міровой жизни и человѣческой души.

Остановимся прежде всего на пьесахъ первой категоріи, въ которыхъ Тютчевъ остается въ предѣлахъ чисто художественной за-

¹⁾ Ibid. 166.

²⁾ Ibid. 177—178.

дачи. Въ свою очередь эти пьесы могут быть раздѣлены на двѣ группы: къ первой принадлежать пьесы объективнаго характера, въ которыхъ поэтъ даетъ отдѣльныя картинки природы, при чёмъ его собственная личность какъ бы скрывается за изображаемой дѣйствительностью; ко второй группѣ относятся стихотворенія съ преобладаніемъ субъективнаго элемента, въ которыхъ поэтъ выражаетъ свои чувства или опредѣляетъ свое личное отношеніе къ явленіямъ вѣщнаго міра.

Примѣры чисто объективнаго изображенія природы въ поэзіи Тютчева довольно многочисленны. Этотъ фактъ свидѣтельствуетъ о томъ, что и самое отношеніе поэта къ природѣ носило характеръ объективности въ гораздо большей степени, чѣмъ, напр., отношеніе къ ней Лермонтова, для которого вѣшній міръ служилъ главнымъ образомъ фономъ для изображенія личныхъ чувствъ и настроеній, громаднымъ резонаторомъ, отражавшимъ біеніе его собственнаго сердца. Для Лермонтова природа, была спасительнымъ прібѣжищемъ, куда онъ уходилъ отъ скорбей жизни отъ человѣческой пошлости и злобы, отъ внутреннихъ страданій и разочарованій. Для Тютчева же природа была близка и дорога сама по себѣ, безотносительно къ его собственному я, къ его личной душевной жизни. Оттого, въ то время, какъ пейзажи Лермонтова большую частью являются субъективно окрашенными и выдаютъ присутствіе самого поэта въ изображенной имъ картинѣ, — Тютчевъ достигаетъ иногда въ своихъ поэтическихъ пейзажахъ почти полной объективности,—насколько вообще возможна объективность въ художественномъ творчествѣ, гдѣ самый выборъ предмета, его освѣщеніе, расположение деталей, характеръ изобразительныхъ средствъ (эпитетовъ, метафоръ и проч.) являются показателями индивидуальныхъ особенностей каждого поэта.

Приведемъ нѣсколько образцовъ этой объективной манеры воспроизведенія природы. Такова, напр., картина ранняго утра въ слѣдующемъ стихотвореніи:

Не двинулась ночная тѣнь,
Высоко въ небѣ мѣсяцъ свѣтить,
Царить себѣ—и не замѣтить,
Что ужъ родился юный день,
Что хоть лѣниво и несмѣло
Лучъ возникаетъ за лучомъ—

А небо такъ еще всецѣло
Ночнымъ сіяеть торжествомъ...
Но не пройдетъ двухъ-трехъ мгновеній,
Ночь испарится надъ землей,—
И въ полномъ блескѣ проявленій,
Насъ вдругъ охватитъ міръ дневной.

Тотъ же моментъ пробужденія природы отъ ночного сна изображенъ и въ стихотвореніи «Восходъ солнца»: повсюду царить предразсвѣтное «чуткое молчанье», въ которомъ чудится какое-то смутное ожиданье... — «Еще въ туманѣ лѣсь и долы, спятъ города и дремлютъ селы», — но уже въ небѣ занимается утро и, «словно скрытной страстью рдѣя», разгорается на немъ багровая полоса:

Еще минута,—и во всей
Неизмѣримости эѳирной
Раздастся благовѣсть всемірный
Побѣдныхъ солнечныхъ лучей...

Противоположная картина,—холодный, вътрешний закатъ изображенъ въ слѣдующей пьесѣ, съ другимъ, болѣе короткимъ, какъ бы порывистымъ, хореическимъ ритмомъ. Обращаетъ на себя вниманіе также обиліе въ ней *красочныхъ* эпитетовъ, воспроизводящихъ непосредственное зрительное впечатлѣніе и придающихъ всей пьесѣ особенную колоритность.

Подъ дыханьемъ непогоды,
Вздувшись, потемнѣли воды
И подернулись свинцомъ;
И сквозь глянецъ ихъ суровый
Вечеръ пасмурно-багровый
Свѣтить радужнымъ лучомъ,

Сыплеть искры золотыя,
Сѣть розы огневыя—
И уносить ихъ потокъ.
Надъ волной темнолазурной
Вечеръ пламенный и бурный
Обрываетъ свой вѣнокъ.

Вотъ другой «этюдъ съ натуры», являющійся какъ бы программой для цѣлой картины («Успокоеніе»):

Гроза прошла. Еще курясь, лежаль
Высокій дубъ, перунами сраженный,
И сизый дымъ съ вѣтвей его бѣжалъ
По зелени, грозою освѣженной;

А ужъ давно звучнѣе и полнѣй
Пернатыхъ пѣснь по рощѣ раздалася,
И радуга концомъ дуги своей
Въ зеленыхъ вершинахъ уперлася!..

Чисто живописнымъ характеромъ отличается и небольшая пьеса «Утро въ горахъ», носящая помѣту: Зальцбургъ, 1830 г.:

Лазурь небесная смѣется,
Ночной омытая грозой,
И между горъ росисто вѣтется
Долина свѣтлой полосой.

Лишь высшихъ горъ до половины
Туманы покрываютъ скатъ,
Какъ бы воздушныя руины
Волшебствомъ созданныхъ палатъ.

Всѣ приведенные стихотворенія отличаются своей строгой объективностью. Самъ поэтъ какъ бы скрывается за нарисованной имъ картиной, ничѣмъ не выдавая собственного настроенія. Какъ мы уже отмѣчали выше, изображенія природы у Тютчева особенно богаты чисто-живописными элементами, заключающими въ себѣ цѣлый рядъ яркихъ зрительныхъ образовъ, передающихъ намъ непосредственное оптическое впечатлѣніе. Форма, окраска, движеніе—вотъ тѣ элементы вѣнѣнія міра, которые преимущественно улавливаются и воспроизводятся Тютчевымъ въ его поэтическихъ пейзажахъ. Тютчевъ отъ природы былъ одаренъ замѣчательной способностью видѣть, особенной остротой зрѣнія; благодаря этому дару художественной наблюдательности, отъ него не ускользали даже мимолетныя, мелочныя впечатлѣнія дѣйствительности, при помощи которыхъ онъ иногда двумя-тремя штрихами умѣлъ создавать цѣлую картину, полную свѣта, жизни и движенія.

Своей объективностью и наглядностью пейзажи Тютчева отчасти напоминаютъ художественные приемы Пушкина. Но у послѣдняго картины природы отличаются своей широтой и слагаются обыкновенно изъ совокупности многихъ типическихъ признаковъ, характеризующихъ то или другое явленіе природы (вспомнимъ его «Осень»

и картины природы въ «Евг. Онѣгинѣ»). Пейзажи Пушкина нерѣдко совмѣщаются въ себѣ цѣлый рядъ послѣдовательныхъ моментовъ, и потому представляются протяженными не только въ пространствѣ, но и во времени; такъ, напр., въ своей картинѣ осени въ 4-й главѣ «Евг. Онѣгина» Пушкинъ въ своемъ изображеніи связываетъ въ одно цѣлое отдѣльныя типическія черты русской осени, которая въ дѣйствительности являются разрозненными и разновременными. Напротивъ того, Тютчевъ, при изображеніи природы, обыкновенно сосредоточиваетъ свое вниманіе на одномъ избранномъ моментѣ, и благодаря такому сосредоточенію, пейзажи его пріобрѣтаютъ характеръ особенной законченности, а обиліе мѣтко схваченныхъ деталей придаетъ имъ яркую наглядность, какъ это мы видимъ, напр., въ извѣстномъ стихотвореніи, изображающемъ картину лѣтней грозы:

Какъ весель грохотъ лѣтнихъ бурь,
Когда, взметая прахъ летучий,
Гроза нахлынувшая тучей
Смутить небесную лазурь,
И опрометчиво-безумно
Вдругъ на дубраву набѣжть,
И вся дубрава задрожитъ
Широколиственно и шумно!

Какъ подъ незримою пятой
Лѣсные гнутся исполины;
Тревожно ропщутъ ихъ вершины,
Какъ совѣщаясь межъ собой;
И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышень птицій свистъ,
И кой-гдѣ первый желтый листъ,
Крутясь, слетаетъ на дорогу...

Этотъ желтый листъ, «крутившійся» слетающій на дорогу,—мастерской заключительный штрихъ, завершающій всю картину и придающій ей яркую жизненность. Подобную же мѣткость художественного наблюденія и наглядность изображенія находимъ мы и въ стихотвореніи: «Гроза дорогой», гдѣ также точность рисунка сочетается съ полной объективностью:

Неохотно и несмѣло
Солнце смотритъ на поля...
Чу! за тучей пргрѣмѣло.
Принахмурилась земля.
Вѣтра теплаго порывы,
Дальній громъ и дождь порой...
Зеленѣющія нивы
Зеленѣ подъ грозой.
Вотъ пробилась изъ-за тучи
Синей молнией струя;

Пламень бѣглый и летучий
Окаймилъ ея края.
Чаще капли дождевыя,
Вихремъ пыль летить съ полей,
И раскаты громовые
Все сердитѣй и смѣлѣй.
Солнце разъ еще взглянуло
Исподлобья на поля,
И въ сіянья потонула
Вся смятенная земля.

Однако, при всей своей объективности, Тютчевскія картины природы вовсе не производятъ впечатлѣнія чего-то безстрastнаго и равнодушнаго. Всѣ онѣ проникнуты той скрытой теплотою чувства, которая придаетъ всѣмъ истинно-художественнымъ созданіямъ ихъ неотразимую силу воздѣйствія на душу читателя. Къ числу лучшихъ образцовъ объективной лирики Тютчева принадлежитъ его извѣстное стихотвореніе, посвященное изображенію ранней осени:

Есть въ осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоять какъ бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Гдѣ бодрый серпъ гуляль и падаль колось, Тepерь ужъ пусто все — просторъ вездѣ; Лишь паутины тонкій волосъ Блестить на праздной бороздѣ. Пустѣеть воздухъ, птицѣ не слышно болѣ; Но далеко еще до первыхъ зимнихъ бурь, И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле.

Стихотвореніе это очень типично для Тютчевской манеры изображенія природы. Объективность, полная простота, точность и мѣткость эпитетовъ, иногда совершенно неожиданныхъ («хрустальный» день), умѣніе схватить мелкую, но характерную для изображаемаго момента черту («паутины тонкій волосъ») и, вмѣстѣ съ тѣмъ, передать и общее впечатлѣніе, — чувство свѣтлого спокойствія, безмятежной покорности, — вотъ главнѣйшія черты, характеризующія художественные приемы Тютчева. Линіи его рисунка удивительно просты и благородны, краски не ярки, но мягки и прозрачны, и вся пьеса производитъ впечатлѣніе мастерской акварели, тонкой и изящной, ласкающей глазъ гармоническимъ сочетаніемъ красокъ.

Замѣчательная воспріимчивость Тютчева къ впечатлѣніямъ вида міра обнаруживается также въ томъ совершенствѣ, съ которымъ онъ умѣетъ сжиться съ природой, прочувствовать и передать настроение, разлитое въ ней, не примѣшивая къ нему никакого субъективнаго оттенка, — передать то, что нѣмцы называютъ *reine Naturstimmung*. Тишиной и прохладой лѣтней ночи вѣеться отъ этихъ задумчиво-спокойныхъ стиховъ:

Тихой ночью, позднимъ лѣтомъ Какъ на небѣ звѣзды рдѣютъ! Какъ подъ сумрачнымъ ихъ свѣтомъ Нивы дремлющія зреютъ...	Усыпительно-безмолвны, Какъ блестятъ во тьмѣ ночной Золотистыя ихъ волны, Ублѣнныя луной!
---	--

Ощущеніемъ спокойной и удовлетворенной полноты жизни проникнуто стихотвореніе «Полдень»:

Лѣниво дышитъ полдень мглистый; Лѣниво катится рѣка; И въ тверди, пламенной и чистой, Лѣниво таютъ облака.	И всю природу, какъ туманъ, Дремота жаркая объемлетъ; И самъ теперь великий Панъ Въ пещерѣ нимфъ спокойно дремлетъ.
---	--

Обѣ эти пьесы воспроизводятъ настроеніе *тишины въ природѣ*, но въ обоихъ уловлены разные моменты, и поэтому производимое ими впечатлѣніе различно. Вообще тишина въ природѣ, не менѣе чѣмъ жизнь и движеніе въ ней, можетъ имѣть разнообразный характеръ: тишина цвѣтущей долины и покой лунной ночи, затишье на морѣ и молчанье горныхъ высей, дремота стоячихъ болотныхъ водъ и безмолвіе туманного утра, — во всѣхъ этихъ случаяхъ одинъ и тотъ же мотивъ тишины въ природѣ носить различный оттенокъ и вызываетъ различное настроеніе. Такъ и у Тютчева, на ряду съ при-

веденными пьесами, можно указать и другія, которыя также изображаютъ тишину въ природѣ, но носятъ уже другой отпечатокъ; таково, напр., стихотвореніе: «Есть въ осени первоначальной...», въ которомъ съ такимъ искусствомъ передано настроеніе яснаго осеннаго дня. Еще инымъ, болѣе торжественнымъ характеромъ, отмѣчена тишина лѣтняго дня, въ рамкѣ горнаго пейзажа, въ стихотвореніи, носящемъ помѣту: Ротенбургъ 1837 г.

Надъ виноградными холмами
Плынутъ златыя облака;
Внизу зелеными волнами
Шумитъ померкшая рѣка.
Взоръ постепенно изъ долины
Подъемляясь, всходитъ къ высотамъ
И видѣть на краю вершины,
Круглообразный, свѣтлый храмъ.

Тамъ въ горнемъ, неземномъ жилищѣ,
Гдѣ смертной жизни мѣста нѣть,
И легче и пустынно-чище
Струя воздушная течеть.
Туда взлетая, звукъ нѣмѣеть,—
Лишь жизнь природы тамъ слышна,
И нѣчто праздничное вѣетъ,
Какъ дней воскресныхъ тишина.

Другимъ настроеніемъ проникнута картина, въ которой съ замѣчательнымъ мастерствомъ уловлена жуткая тишина, царящая ночью въ лѣсу, полная какого-то зловѣщаго молчанія и притаившихся ужасовъ:

Песокъ сыпучій по колѣни.
Мы єдемъ; поздно, меркнетъ день;
И сосенъ по дорогѣ тѣни
Уже въ одну слились тѣни.

Чернѣй и чаще боръ глубокий....
Какія грустныя мѣста!
Ночь хмурая, какъ звѣрь стоокий,
Глядить изъ каждого куста¹⁾.

Въ этомъ стихотвореніи уже чувствуется присутствіе субъективнаго элемента: то настроеніе ночной жути, которымъ оно проникнуто, въ сущности, передаетъ впечатлѣніе, какое производитъ данный моментъ и окружающая обстановка на душу человѣка; впечатлѣніе это проецируется во внѣ, а послушное воображеніе создаетъ образы, въ которыхъ это настроеніе конкретно воплощается («ночь — звѣрь стоокий»).

Вообще стихотвореній съ субъективнымъ содержаніемъ у Тютчева значительно больше, чѣмъ чисто-объективныхъ. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ этотъ субъективный элементъ сказывается въ отдѣльныхъ намекахъ, въ характеристическихъ эпитетахъ, въ общемъ тонѣ. Въ другихъ личность поэта, его чувства и настроенія выдвигаются на первое мѣсто, а картины природы служатъ лишь поводомъ для ихъ про-

¹⁾ Аналогичный образъ находимъ мы у Лермонтова:

И миллионномъ черныхъ глазъ
Смотрѣла ночи темнота
Сквозь вѣтри каждого куста. (Мцыри.)

Быть можетъ, это совпаденіе у обоихъ поэтовъ объясняется безсознательной реминисценціей одного мѣста изъ Гётеvскаго стихотворенія «Willkommen und Abschied»:

...Wo Fisterniss aus dem Cesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

явленія. Большой интересъ представляютъ тѣ пьесы Тютчева, въ которыхъ поэтъ самъ опредѣляетъ свое отношеніе къ природѣ, говорить о характерѣ того чувства, которое связывало его съ ней. Чувство природы отличалось у Тютчева гораздо большей силой и интимностью, чѣмъ у Пушкина и даже у Лермонтова. Онъ любилъ ее глубокой и безотчетной любовью, основанной на органическомъ, непосредственномъ влечениіи. Тютчевъ самъ хорошо сознавалъ это свойство своей натуры, — ея тяготѣніе къ природѣ, къ земному миру. Въ одномъ изъ раннихъ своихъ стихотвореній (конца 20-хъ г.) онъ говорить:

Нѣть, моего къ тебѣ пристрастія
Я скрыть не въ силахъ, мать-земля!
Духовъ безплотныхъ сладострастія,
Твой вѣрный сынъ, не жажду я.
Что предъ тобой уѣхъ рая,
Пора любви, пора весны,
Цвѣтущее блаженство мая,
Румяный свѣтъ, златые сны!

Весь день, въ бездѣйствіи глубокомъ,
Весенний теплый воздухъ пить,
На небѣ чистомъ и высокомъ
Порою облака слѣдить;
Бродить безъ дѣла и безъ цѣли
И ненарокомъ, на-лету,
Набресть на свѣжай духъ синели
Или на свѣтлую мечту!...

Здѣсь наслажденіе природой взято въ его чистомъ, можно сказать — наивномъ видѣ, въ формѣ беззаботнаго *dolce far niente*. Поэтъ не задумывается ни надъ собственнымъ своимъ чувствомъ, ни надъ отношеніемъ къ природѣ, ни надъ отношеніемъ природы къ нему, — онъ чуждъ всякой рефлексіи, всякаго анализа. Вмѣстѣ съ тѣмъ это стихотвореніе характеризуетъ и преобладающіе вкусы Тютчева, по отношенію къ природѣ. Тютчевъ чаще всего останавливается въ своемъ изображеніи природы на моментахъ наибольшаго напряженія ея творческихъ силъ, высшаго расцвѣта ея красоты, на тѣхъ, моментахъ, когда —

.... цвѣтущій міръ природы,
Избытокъ жизни упоенъ.

Свѣтлой и радостной, полной жизни и движенія, — вотъ какой чаще всего является природа въ лирикѣ Тютчева. Изъ всѣхъ временъ года наиболѣшее число стихотвореній посвящено имъ веснѣ и лѣту. Но и въ его «весеннихъ» стихотвореніяхъ можно отмѣтить характерную черту: не ранняя весна, съ ея жаждой чего-то болѣе полнаго, законченнаго, съ ея смутнымъ томленіемъ, съ ея сладкой и грустной нѣгой, вдохновляла Тютчева, а «цвѣтущее блаженство мая», свѣтлый праздникъ природы, пора ея торжествующей юности.

Этотъ «избытокъ жизни», ея полнота и богатство чувствуется и въ тѣхъ картинахъ, которые изображаютъ тишину въ природѣ, моменты покоя и сна («Полдень», «Тихой ночью»...); сквозь эту тишину слышится однако у Тютчева мощное и спокойное дыханіе дремлющей природы, глубокая вибрація ея жизненныхъ силъ:

Смотри, какъ роща зеленѣеть,
Палиющимъ солнцемъ облита,
И въ ней какою нѣгой вѣтъ!
Отъ каждой вѣтки и куста!

Войдемъ и сядемъ надъ корнями
Деревъ, поимыхъ родникомъ —
Тамъ, гдѣ обвѣянный ихъ мглами,
Онъ шепчетъ въ сумракъ нѣмомъ.

Надъ нами бредятъ ихъ вершины,
Въ полдневный зной погружены,
И лишь порою крикъ орлиный
До насъ доходитъ съ вышины...

Но еще нагляднѣе этотъ «избытокъ жизни», разлитый въ природѣ, обнаруживается въ игрѣ космическихъ силъ, которою такъ любовался Тютчевъ, и которая такъ часто вдохновляла его. Въ одномъ изъ наиболѣе извѣстныхъ своихъ стихотвореній поэтъ говоритъ:

Люблю грозу въ началѣ мая,
Когда весенній первый громъ,
Какъ бы рѣзаясь и играя,
Грохочетъ въ небѣ голубомъ.
Гремятъ раскаты молодые;
Вотъ дождикъ брызнулъ, пыль летитъ,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотитъ.

Съ горы бѣжитъ потокъ прорванный,
Въ лѣсу не молкнетъ птичій гамъ,
И гамъ лѣсной и шумъ нагорный —
Все вторить весело громамъ.
Ты скажешь: вѣтреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящій кубокъ съ неба,
Смѣясь, на землю пролила.

Вообще явленіе грозы очень часто останавливало на себѣ вниманіе нашего поэта, возбуждало въ его душѣ поэтическій отголосокъ. Онъ живописалъ ее въ различныхъ ея видахъ и проявленіяхъ, — то воспѣвая «веселый грохотъ лѣтнихъ бурь» или «весенній первый громъ», то изображая жуткія и угрюмые воробышныя ночи, когда «надъ тусклую землею» «небо, полное грозою», трепещетъ отъ зарницъ, которыхъ —

Воспламеняясь чередой,
Какъ демоны глухонѣмые,
Ведутъ бесѣду межъ собой...,

Саводникъ.

Тютчевъ — пѣвецъ природы.

Тютчевъ былъ, по преимуществу, пѣвецъ природы, которая была для его ума раскрытої книгой, а для сердца существомъ, полнымъ движенія и жизни:

Не то, что мните вы, — природа —
Не слѣпокъ, не бездушный ликъ:
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

Въ особенности любить онъ живописать переходныя времена года — весну и осень. Вотъ одно изъ стихотвореній, посвященныхъ осени:

Обвѣянъ вѣщею дремотой,
Полураздѣтый лѣсъ грустить;
Изъ лѣтнихъ листьевъ развѣ сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на вѣткѣ шелестить.
Гляжу съ участемъ умиленнымъ,
Когда, пробившись изъ-за тучъ,

Вдругъ по деревьямъ испещреннымъ
Молниевидный брызнетъ лучъ.
Какъ увѣдающее мило!
Какая прелестъ въ немъ для насъ,
Когда, что такъ цвѣло и жило,
Теперь такъ немощно и хило,
Въ послѣдній улыбнется разъ!..

А изъ «весеннихъ» стихотвореній довольно напомнить «Весеннія воды» («Еще въ поляхъ бѣлѣтъ снѣгъ...»), которая каждый въ дѣствѣ училъ наизусть.

Вотъ затѣмъ картинка знойнаго лѣтняго дня:

Въ небѣ таютъ облака,
И лучистая на зноѣ
Въ искрахъ катится рѣка,
Словно зеркало стальное...
Часъ отъ часу жаръ сильный,
Тѣнь ушла къ нѣмымъ дубравамъ,

И съ бѣлѣющихъ полей
Вѣтъ запахомъ медовымъ.
Чудный день!—Пройдуть вѣка
Такъ же будетъ въ вѣчномъ строѣ
Течь и искриться рѣка
И поля дышать на зноѣ

Или совершенно фетовскій «Полдень».

Лѣниво дышитъ полдень мглистый,
Лѣниво катится рѣка,
И въ тверди пламенной и чистой
Лѣниво таютъ облака.

И всю природу, какъ туманъ,
Дремота жаркая объемлетъ,
И самъ теперь великий Панъ
Въ пещерѣ нимфъ спокойно дремлетъ.

Вообще въ извѣстной части своихъ стихотвореній, посвященныхъ природѣ, Тютчевъ съ Фетомъ имѣеть много общаго и, подобно ему, является большими мастеромъ въ передачѣ душевнаго настроенія при изображеніи природы, съ которой онъ чувствуетъ постоянную и близкую связь. Отсюда является понятнымъ, почему Фетъ въ своихъ воспоминаніяхъ почтилъ въ Тютчевѣ одного изъ величайшихъ лириковъ, существовавшихъ на землѣ, «самое воздушное воплощеніе поэта, какимъ его рисуетъ себѣ романтизмъ». Тютчевъ нерѣдко даетъ въ своихъ стихотвореніяхъ своеобразное поэтическое сплетеніе образовъ изъ видимой природы и душевныхъ настроеній:

Дума за думой, волна за волной
Два проявленья стихіи одной!
Въ сердцѣ ли тѣсномъ, въ безбрежномъ ли морѣ,
Здѣсь—въ заключеніи, тамъ на просторѣ;
Тотъ же все вѣчный прибой и отбой,
Тотъ же все призракъ тревожно пустой.

Въ такихъ стихотвореніяхъ душевное настроеніе поэта какъ бы вставлено имъ въ изображеніе окружающей природы, и если искать для современныхъ импресіонистовъ—родоначальниковъ въ старой литературѣ, то однимъ изъ лучшихъ представителей этого рода будетъ именно Тютчевъ. Однако, тутъ же налицо и огромная разница: у Тютчева настроеніе нисколько не навязано читателю; оно является само собой, какъ естественный результатъ вдумчиваго и глубокаго отношенія къ природѣ.

Пѣтуховъ.

Картины природы въ стихотвореніяхъ Тютчева.

Стихи Тютчева не выдаются особеною бойкостью, наружною красивостью, силою и звучностью; но, взамѣнъ этихъ качествъ, они отличаются совершенно своеобразною фактурою; ихъ мелодичность не похожа на музыкальный строй, если не одинаковый, то довольно общій у прочихъ нашихъ поэтовъ. Что особенно плѣняетъ въ поэзіи Тютчева, это ея необыкновенная грація, не только внѣшняя, но еще болѣе внутренняя. Все жестокое, рѣзкое и яркое чуждо его стихамъ; на всемъ художественная мѣра; все извнѣ и изнутри, такъ сказать, обвѣяно изяществомъ. Самое вещество словно какъ бы теряетъ свою вещественность,—которою именно такъ любятъ играть и щеголять нѣкоторые поэты, которая составляетъ своего рода специальную красоту въ стихахъ, напримѣръ, Языкова. Вещество слова у Тютчева какъ-то одухотворяется, становится прозрачнымъ. Мыслью и чувствомъ трепещетъ вся его поэзія. Его музыкальность не въ одномъ внѣшнемъ гармоническомъ сочетаніи звуковъ и риѳмъ, но еще болѣе въ гармоническомъ соотвѣтствіи формы и содержанія.

Почти всѣ стихотворенія Тютчева равно граціозны и музыкальны, но приведемъ теперь для примѣра хоть нѣкоторая изъ нихъ, гдѣ это свойство его поэзіи, при относительной незначительности содержанія, выступаетъ, такъ сказать, на первый планъ.

Вотъ, напримѣръ, одно изъ самыхъ молодыхъ стихотвореній, написанное, можетъ-быть, лѣтъ 45 тому назадъ¹⁾ и внушенное ему 16-лѣтнею красавицею за границею:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край...
День вечеръль. Мы были двое.
Внизу, въ тѣни, шумъль Дунай,
И на холму, тамъ, гдѣ бѣлья,
Руина замка вдалъ глядить,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранить,
Ногой младенческой касаясь
Обломковъ груды вѣковой...
И солнце медлило, прощаясь
Съ холмомъ и съ замкомъ и съ тобой.

И вѣтеръ тихій мимолетомъ
Твоей одеждью игралъ
И съ дикихъ яблонь цвѣть за цвѣтомъ
На плечи юная свѣвалъ.
Ты беззаботно вдали глядѣла...
Край неба дымно гасъ въ лучахъ;
День догоралъ; звучнѣе пѣла
Рѣка въ померкшихъ берегахъ.
И ты, съ веселостью безпечной,
Счастливый провожала день...
И сладко жизни быстротечной
Надѣ нами пролетала тѣнь.

Какъ граціозна эта картина лѣтняго вечера и молодой дѣвушки у развалинъ старого замка, озаренной догорающими лучами солнца,— какая мягкость тоновъ и нѣжность колорита! Съ трудомъ вѣрится, что это стихотвореніе,—написанное, если не ошибаемся, въ ранней молодости,— принадлежитъ поэту, который еще не задолго предъ тѣмъ, подъ вліяніемъ образцовъ такъ называемой русской классической поэзіи, считалъ себя обязаннымъ пѣть въ важномъ и напы-

1) Статья написана въ 1874 году.

щенномъ тонѣ и добровольно сковывалъ свое творчество, пока не махнулъ рукой на «сочинительство», на печать и на всякую авторскую славу. А вотъ другое, изъ позднѣйшей поры, написанное уже въ шестидесятыхъ годахъ; вотъ въ какомъ легкомъ и изящномъ образѣ выражено имъ нравственное изнеможеніе:

О этотъ югъ, о эта Ницца!..	Нѣть ни полета ни размаху;
О, какъ ихъ блескъ меня тревожить!	Висяты подломанныя крылья,
Мысль, какъ подстрѣленная птица,	И вся дрожитъ, прижавшись къ праху,
Поднятся хотеть и не можетъ...	Въ сознаны грустнаго бессилья.

Впрочемъ, трудно выбрать стихотвореніе, которое служило бы примѣромъ только одной граціозности. Это свойство его поэзіи неразлучно съ каждымъ проявленіемъ его поэтическаго творчества, какъ увидитъ далѣе и самъ читатель.

Но гдѣ Тютчевъ является совершеннымъ мастеромъ, мало имѣющимъ себѣ подобныхъ, это въ изображеніи картинъ природы. Нѣть, конечно, сюжета болѣе избитаго стихотворцами всего міра. Къ счастью, самъ сюжетъ, т.-е. сама природа, отъ этого нисколько не опошливается, и ея дѣйствіе на духъ человѣческій не менѣе неотразимо. Сколько бы тысячъ писателей ни пытались передать намъ ея языкъ, — всегда и вѣчно онъ будетъ звучать свѣжо и ново, какъ только душа поэта станетъ въ прямое общеніе съ душою природы. Оттого и картины Тютчева исполнены такой же бессмертной красоты, какъ бессмертна красота самой природы. — Вообще, вѣрность изображенія не только того, что зовется «природой», но и всякаго предмета, явленія и даже ощущенія, заключается вовсе не въ обиліи подробностей, вовсе не въ *аккуратной* передачѣ всякой, даже самой мелкой черты, вовсе не въ той фотографической точности, которую такъ хвалятся художники-реалисты позднѣйшаго времени. Многіе изъ нашихъ новѣйшихъ писателей любятъ кокетничать наблюдательностью, и, думая изобразить чью-либо физіономію, перечисляютъ углы и изгибы рта, губъ, носа, чуть не каждую бородавку на лицѣ; если же рисуютъ быть, то съ неумолимою отчетливостью передаютъ каждую ничтожную частность, иногда совершенно случайную, зыбкую, вовсе не типичную... Они только утомляютъ читателя и нисколько не уловляютъ внутренней правды. Истинный художникъ, напротивъ того, изъ всѣхъ подробностей выберетъ одну, но самую характерную; его взоръ тотчасъ угадываетъ черты, которыми опредѣляется весь вѣнѣшній и внутренній смыслъ предмета, и опредѣляется такъ полно, что остальные черты и подробности сами уже собой доказываются въ воображеніи читателя. Воспринимая впечатлѣніе отъ наружности ли человѣческой, отъ иныхъ ли вѣнѣшнихъ явленій, мы прежде всего воспринимаемъ это впечатлѣніе непосредственно, еще безъ анализа, еще не успѣвая, да иногда и не задаваясь трудомъ: изучить и разобрать всѣ соотношенія линій и всю игру мускуловъ въ физіономіи, или же всѣ формы и движенія частей, составляющихъ, напримѣръ,

картину природы. Слѣдовательно, художественная задача — не въ томъ, чтобы сдѣлать рабскій снимокъ съ натуры (что даже и невозможно), а въ воспроизведеніи тою же именно впечатлѣнія, какое произвела бы на насъ сама живая натура. Это умѣнье передавать нѣсколькими чертами всю цѣлостность впечатлѣнія, всю реальность образа, требуетъ художественного таланта высшей пробы и принадлежитъ Тютчеву вполнѣ, особенно въ изображеніяхъ природы.

Приведемъ въ доказательство слѣдующее стихотвореніе Тютчева:

Есть въ осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоитъ какъ бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Гдѣ бодрый серпъ гулять и падаль колось,
Теперь ужъ пусто все — просторъ вездѣ;
Лишь паутины тонкій волосъ
Блестить на праздной бороздѣ.
Пустѣть воздухъ, птицъ не слышно болѣ;
Но далеко еще до первыхъ зимнихъ бурь,
И льется чистая и тихая лазурь
На отдыхающее поле.

Здѣсь нельзя уже ничего прибавить; всякая новая черта была бы излишня. Достаточно одного этого «тонкаго волоса паутины», чтобы однимъ этимъ признакомъ воскресить въ памяти читателя былое ощущеніе подобныхъ осеннихъ дней, во всей его полнотѣ.

Или вотъ это стихотвореніе, — другая сторона осени:

Есть въ свѣтлости осеннихъ вечеровъ
Умильная таинственная прелестъ...
Зловѣщій блескъ и пестрота деревъ,
Багряныхъ листьевъ томный, легкій
шелестъ;
Туманная и тихая лазурь
Надъ грустно сиротѣющей землею,

И, какъ предвѣстье близящихся бурь,
Порывистый, холодный вѣтръ порою;
Ущербъ, изнеможенъ и на всемъ
Та краткая улыбка увяданья.
Что въ существѣ разумномъ мы зовемъ
Возвышенной стыдливостью страданья.

Не говоря уже о прекрасномъ граціозномъ образѣ «стыдливаго страданья», — образѣ, въ который претворилось у Тютчева ощущеніе осеннаго вечера, самый этотъ вечеръ воспроизведенъ такими точными, хоть и немногими, чертами, что будто самъ ощущаешь и переживаешь всю его жуткую прелестъ.

Этотъ мотивъ повторенъ Тютчевымъ и въ другой пьесѣ, но образъ осени умильнѣе, нѣжнѣе и сочувственнѣе:

Обвѣянъ вѣщай дремотой,
Полураздѣтый лѣсъ груститъ;
Изъ лѣтнихъ листьевъ развѣтъ сотовый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на вѣткахъ шелеститъ.
Гляжу съ участемъ умиленнымъ,
Когда, пробившиесь изъ-за тучъ,

Вдругъ по деревьямъ испещреннымъ
Молниевидный брызнетъ лучъ...
Какъ увядашее мило!
Какая прелестъ въ немъ для насъ.
Когда, что такъ цвѣло и жило,
Теперь такъ немощно и хило,
Въ послѣдній улыбнется разъ!...

Такая же истина и въ этой картинѣ осени:

Такъ иногда осеннею порой,
Когда поля ужъ пусты, рощи голы,
Блѣднѣе небо, пасмурнѣе долы,—

Вдругъ вѣтъ подуетъ, теплый и сырой,
Опавшій листъ погонитъ предъ собою
И душу вамъ обдастъ какъ бы весною...

Именно теплый и сырой вѣтеръ. Это именно то, что нужно.
Кажется, какія незатѣливыя слова, но въ этомъ-то и достоинство,
въ этомъ-то и прелесть: они просты, какъ сама правда.

У Тютчева эта мѣткость качественныхъ опредѣленій простирается не на одни предметы внѣшняго міра, какъ и увидимъ ниже.

Вотъ еще нѣсколько примѣровъ изображенія природы у Тютчева; мы поставили курсивомъ тѣ именно выраженія, которыхъ намъ кажутся художественно точными и простыми:

Полдень.

Лѣниво дышитъ полдень мглистый,
Лѣниво катится рѣка,
И въ тверди пламенной и чистой
Лѣниво таютъ облака.

И всю природу, какъ туманъ,
Дремота жаркая объемлетъ,
И самъ теперь великий Панъ
Въ пещерѣ нимфъ спокойно дремлетъ.

Здѣсь это одно «лѣниво таютъ» стоитъ всякаго длиннаго, подробнаго описанія.

Или вотъ это выраженіе:

Не остывшая отъ зною
Ночь юльская блистала...

Вотъ картина лѣтней бури:

Какъ весель грохочь лѣтнихъ бурь,
Когда, взметая прахъ летучій,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутитъ небесную лазурь,
И опрометчиво-безумно
Вдругъ на дубраву набѣжитъ,
И вся дубрава задрожитъ,

Широколиственно и шумно!

И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышень птичій свистъ,
И кой-егдѣ первый жестый листъ,
Крутясь, слетаетъ на дорогу...

Ради простоты и точности очертаній приведемъ еще два отрывка:

Родной ландшафтъ подъ дымчатымъ
навѣсомъ
Огромной тучи синѣголовой;
Синѣеть даль съ ея угрюмымъ лѣсомъ,
Окутаннымъ осенней мглой.
Все голо такъ и пусто, необъятно
Въ однообразіи нѣмомъ;
Мѣстами лишь просачиваются пятна

Стоячихъ водъ, покрытыхъ первымъ
льдомъ.
Ни звуковъ здѣсь, ни красокъ, ни дви-
женія.
Жизнь отошла, и, покоряясь судьбѣ,
Въ какомъ-то забытьи изнеможенъ,
Здѣсь человѣкъ лишь снится самъ
себѣ.

Здѣсь не только внѣшняя вѣрность образа, но и вся полнота внутренняго ощущенія.

Какъ неожиданно и ярко;
На влажной неба синевѣ
Воздушная воздвиглась арка
Въ своёмъ минутномъ торжествѣ.

Одинъ конецъ въ лѣса вонзила,
Другимъ за облака ушла;
Она полнеба охватила
И въ высотѣ изнемогла!

Изнемогла! Выражение не только глубоко върное, но и смѣлое. Едва ли не впервые употреблено оно въ нашей литературѣ въ такомъ именно смыслѣ. А между тѣмъ нельзѧ лучше выразить этотъ внѣшній процессъ постепенного таянія, ослабленія, исчезновенія радуги. Еще г. Тургеневъ замѣтилъ, что «языкъ Тютчева часто поражаетъ смѣлостью и красотою своихъ оборотовъ».

Трудно разстаться съ картинами природы въ поэзіи Тютчева, не выписавъ еще нѣсколько примѣровъ. Вотъ его «Весеннія воды»:

Еще въ поляхъ бѣльется снѣгъ,
А воды ужъ весной шумятъ,
Бѣгутъ и будятъ сонный брегъ,
Бѣгутъ и блещутъ и гласятъ.
Онѣ гласятъ во всѣ концы:
«Весна идетъ, весна идетъ.

Мы молодой весны гонцы,
Она настъ выслала впередъ!
Весна идетъ, весна идетъ!»
И тихихъ, теплыхъ майскихъ дней
Румянный, свѣтлый хороводъ
Толпится весело за ней!

Эти стихи такъ и обдаются чувствомъ весны, молодымъ, добрымъ, веселымъ. Вотъ отрывокъ и другого стихотворенія, которое можно бы назвать: «Предъ грозою».

Въ душномъ воздухѣ молчанье,
Какъ предчувствіе грозы,
Жарче розъ благоуханье,
Звонче голосъ стрекозы.
Чу! за бѣлой, дымной тучей
Глухо прокатился громъ,

Небо молніей летучей
Опоясалось кругомъ...
Нѣкій жизні преизбытокъ
Въ знойномъ воздухѣ разлитъ,
Какъ божественный напитокъ,
Въ жилахъ млѣтъ и дрожитъ...

Заключимъ этотъ отдѣль поэзіи Тютчева однимъ изъ самыхъ молодыхъ его стихотвореній: «Весенняя гроза»:

Люблю грозу въ началѣ мая,
Когда весенній первый громъ,
Какъ бы рѣзвясь и играя,
Грохочетъ въ небѣ голубомъ.
Гремяты раскаты молодые!
Вотъ дождикъ брызнуль, пыль летить,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотить.

Съ горы бѣжитъ потокъ проворный,
Въ лѣсу не молкнетъ птичій гамъ.
И гамъ лѣсной и шумъ нагорный:
Все вторить весело громамъ.
Ты скажешь: вѣтреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящій кубокъ съ неба,
Смѣясь, на землю пролила.

Такъ и видится молодая, смѣющаяся вверху Геба, а кругомъ влажный блескъ, веселье природы и вся эта майская грозовая потѣха. Это стихотвореніе было напечатано въ «Галатеѣ» еще въ 1829 году, но такова странная судьба поэзіи Тютчева, что оно не обратило тогда на себя ни малѣйшаго вниманія.

Ив. Аксаковъ.

Стихотворенія Тютчева принадлежать къ немногимъ блестящимъ явленіямъ въ области русской поэзіи. Тютчевъ написалъ очень немного; но все написанное имъ носить на себѣ печать истиннаго и прекраснаго таланта, нерѣдко самобытнаго, всегда граціознаго, исполненнаго мысли и неподдѣльного чувства. Мы увѣрены, что

если бъ Тютчевъ писаль болѣе, талантъ его доставилъ бы ему одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ въ русской поэзіи.

Главное достоинство стихотвореній Тютчева заключается въ живомъ, граціозномъ, пластически-вѣрномъ изображеніи природы. Онъ горячо любить ее, прекрасно понимаетъ, ему доступны самыя тонкія, неуловимыя черты и оттѣнки ея, и все это превосходно отражается въ его стихотвореніяхъ. Конечно, самый трудный родъ поэтическихъ произведеній — это тѣ произведенія, въ которыхъ, повидимому, нѣть никакого содержанія, никакой мысли; это пейзажъ въ стихахъ, картинка, обозначенная двумя-тремя чертами. Уловить именно тѣ черты, по которымъ въ воображеніи читателя можетъ возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина, дѣло величайшей трудности. Тютчевъ въ совершенствѣ владѣеть этимъ искусствомъ. Вотъ нѣсколько стихотвореній, которые подтверждаютъ нашу мысль:

УТРО ВЪ ГОРАХЪ.

Лазурь небесная смѣется,
Ночной омытая грозой,
И между горъ росисто вѣтается
Долина свѣтлой полосой.

Лишь высшихъ горъ до половины
Туманы покрываютъ скать,
Какъ бы воздушныя руины
Волшебствомъ созданныхъ палатъ.

СНѢЖНЫЕ ГОРЫ.

Уже полдневная пора
Палить отвѣсными лучами,
И задымилася гора
Съ своими черными лѣсами.
Едва въ трепещущихъ листахъ
Перебирается прохлада,
Звонокъ пасущагося стада
Почти замолкъ на высотахъ.
Внизу, какъ зеркало стальное,
Синѣютъ озера струи,

И съ камней, блещущихъ на зноѣ,
Въ родную глубь спѣшатъ ручьи.
И между тѣмъ какъ полусонный,
Нашъ дольній міръ, лишенный силъ,
Проникнуть нѣгой благовонной,
Во мглѣ полуденной почилъ, —
Горѣ, какъ божества родныя
Надъ издыхающей землей.
Играютъ выси ледяныя
Съ лазурью неба огневой.

Стихотворенія эти очень коротки, а между тѣмъ ни къ одному изъ нихъ рѣшительно нечего прибавить. Каждое слово мѣтко, полно-вѣсно, и оттѣнки расположены съ такимъ искусствомъ, что въ цѣломъ обрисовываютъ предметъ, какъ нельзя вполнѣ. Нечего уже и говорить, что утро Тютчева не похоже на вечеръ, а полдень на утро, какъ это часто случается у нѣкоторыхъ и не совсѣмъ плохихъ поэтовъ.

Какъ на превосходный примѣръ удивительной способности Тютчева схватывать характеристическая черты картинъ и явлений природы, можно указать на стихотвореніе «Осенній вечеръ»¹). Какая превосходная картина въ немъ! Каждый стихъ хватаетъ за сердце, какъ хватаютъ за сердце въ иную минуту безпорядочные, внезапно набѣгающіе порывы осенняго вѣтра; ихъ и слушать больно и пере-

¹⁾ Страница 17.

стать слушать жаль. Впечатлѣніе, которое испытываешь при чтеніи этихъ стиховъ, можно только сравнить съ чувствомъ, какое овладѣваетъ человѣкомъ у постели молодой умирающей женщины, въ которую онъ былъ влюбленъ. Только талантамъ спльнымъ и самобытнымъ дано затрогивать такія струны въ человѣческомъ сердцѣ; вотъ почему мы нисколько не задумались бы поставить Тютчева рядомъ съ Лермонтовымъ; жаль, что онъ написалъ слишкомъ мало. Нечего и говорить о художественномъ достоинствѣ «Осенняго вечера»: каждый стихъ его перлъ, достойный любого изъ нашихъ великихъ поэтовъ. Вотъ еще стихотвореніе Тютчева въ этомъ же родѣ:

Что ты клонишь надъ водами,
Ива, макушку свою
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь бѣглую струю?

Хоть томится, хоть трепещетъ
Каждый листъ твой надъ струей...
Но струя бѣжитъ и плещетъ,
И, на солнцѣ нѣжась, блещетъ
И смеется надъ тобой...

Ничего не прибавляемъ въ похвалу этому стихотворенію. Замѣтимъ только одно, что, несмотря на всю разность содержанія, оно напоминало намъ стихотвореніе Лермонтова «Бѣлѣеть парусъ однокій», которому оно, по нашему мнѣнію, нисколько не уступаетъ по своему достоинству.

Одною изъ лучшихъ картинъ, написанныхъ первомъ Тютчева, почитаемъ мы стихотвореніе «Весеннія воды»¹⁾. Сколько жизни, веселости, весенней свѣжести въ трехъ стихахъ:

...Весна идетъ, весна идетъ,
Мы молодой весны гонцы,
Она насъ выслала впередъ!

Читая ихъ, чувствуешь весну, когда самъ не знаешь, почему дѣлается весело и легко на душѣ, какъ будто нѣсколько лѣть свалилось долой съ плечъ, — когда любуешься и едва показавшейся травкой и только что распускающимся деревомъ, и бѣжишь, — бѣжишь, какъ ребенокъ, полной грудью, впивая живительный воздухъ и забывая, что бѣжать совсѣмъ неприлично, не по лѣтамъ, а слѣдуетъ итти степенно, и что радоваться тоже совсѣмъ нечего и нечemu...

Вотъ еще одно изъ прелестныхъ стихотвореній Тютчева:

В Е С Н А .

Какъ ни гнететь рука судьбины,
Какъ ни томить людей обманъ,
Какъ ни браздять чело морщины,
И сердце, какъ ни полно ранъ,
Какимъ бы строгимъ испытаньямъ
Вы ни были подчинены,
Чтѣ устоитъ передъ дыханьемъ
И первой встрѣчу весны!

Весна — она о васъ не знаетъ. —
О васъ, о горѣ и о злѣ;
Безсмертьемъ взоръ ея сияетъ,
И ни морщины на челѣ...
Своимъ законамъ лишь послушна,
Въ условный часъ слетасть къ намъ.
Свѣтла, блаженно-равнодушна,
Какъ подобаетъ божествамъ.

¹⁾ Стран. 20.

Цвѣтами сыплетъ надъ землею,
Свѣжа, какъ первая весна;
Была ль другая передъ нею,
О томъ не вѣдаешь она.
По небу много облакъ бродитъ,
Но эти облака ея:
Она ни слѣду не находитъ
Отцѣтшихъ весенъ бытія.
Не о быломъ вздыхаютъ розы,
И соловей въ ночи поетъ;
Благоухающія слезы
Не о быломъ Аврора льетъ,

И страхъ кончины неизбѣжной
Не свѣть съ древа ни листа;
Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный,
Вся въ настоящемъ разлита.
Игра и жертва жизни частной,
Приди жъ, отвергни чувствъ обманъ
И ринься, бодрый, самовластный,
Въ сей животворный океантъ!
Приди — струей его эѳирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески-всемірной
Хотя на мигъ причастенъ будь!

Теперь переходимъ къ тѣмъ стихотвореніямъ, въ которыхъ къ мастерской картинѣ природы присоединяется мысль, постороннее чувство, воспоминаніе. Въ этомъ отношеніи мы можемъ указать на слѣдующія стихотворенія:

Давно ль, давно ль, о югъ блажен-
ный,
Я зреѣть тебя лицомъ къ лицу,
И какъ эдемъ, ты растворенный,
Доступенъ былъ мнѣ, пришлецу!
Давно ль, — хотя безъ восхищенія,
Но новыхъ чувствъ не даромъ полнъ,—
И я заслушивался пѣнья
Великихъ средиземныхъ волнъ!
И пѣснь ихъ, какъ во время оно,
Полна гармоніи была,
Когда изъ ихъ родного лона
Киприда свѣтлая всплыла...
Онѣ все тѣ же и понынѣ,
Все также блещутъ и звучатъ;
По ихъ лазоревой равнинѣ
Родные призраки скользятъ.

Но я... я съ вами рас простился,
Я вновь на сѣверъ увлеченъ;
Вновь надо мною опустился
Его священный небосклонъ.
Здѣсь воздухъ колетъ, снѣгъ обильный
На высотахъ и въ глубинѣ,
И холодъ, чародѣй всесильный,
Одинъ господствуетъ вполнѣ.

Но тамъ, за этимъ царствомъ выюги,
Тамъ, тамъ, на рубежѣ земли,
На золотомъ, на свѣтломъ югѣ,
Еще я вижу васъ вдали:
Вы блещете еще прекраснѣй,
Еще лазурнѣй и свѣжѣй.
И говорятъ вашъ еще согласнѣй
Доходитъ до души моей.

Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной,
Земная жизнь кругомъ объята снами,
Настанеть ночь, и звучными волнами
Стихія бьетъ о берегъ свой.

То гласъ ея: онъ нудить насъ и про-
сить,
Ужъ въ пристани волшебный ожиль
челнъ,

Приливъ растеть и быстро насытъ уносить
Въ неизмѣримость темныхъ волнъ
Небесный сводъ, горящій славой
звѣздной,
Таинственно глядить изъ глубины,
И мы плывемъ, пылающею бездной
Со всѣхъ сторонъ окружены.

Послѣдніе четыре стиха удивительны: читая ихъ, чувствуешь невольный трепетъ. Наконецъ, стихотвореніе «Я помню время золотое»¹⁾ принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ Тютчева, да и вообще всей русской поэзіи. Прочитавъ это стихотвореніе, читатель, конечно, согласится съ нами въ томъ, что сказали мы о таланѣ

¹⁾ См. стран. 15.

Тютчева; нѣтъ сомнѣнія, отъ такого стихотворенія не отказался бы и Пушкинъ. Не входимъ въ подробный разборъ этой пьесы и не отмѣчаемъ лучшихъ стиховъ ея, предоставляемъ это самимъ читателямъ. Любовь къ природѣ, сочувствіе къ ней, полное пониманіе ея и умѣніе мастерски воспроизводить ея многообразныя явленія,— вотъ главныя черты таланта Тютчева. Онъ съ полнымъ правомъ и полнымъ сознаніемъ могъ обратиться къ непонимающимъ и не умѣющимъ цѣнить природы съ слѣдующими энергическими стихами:

Не то, что мните вы, природа —
Не слѣпокъ, не бездушный ликъ:
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,
Въ ней есть любовь, въ ней есть языки.

Они не видять и не слышать,
Живутъ въ семь мірѣ, какъ впотьмахъ,
Для нихъ и солнца, знать, не дышать,
И жизни нѣть въ морскихъ волнахъ.

Лучи къ нимъ въ душу не сходили,
Весна въ груди ихъ не цвѣла,
При нихъ лѣса не говорили,
И ночь въ звѣздахъ нѣма была!

И языками неземными
Волнуя рѣки и лѣса,
Въ ночи не совѣщалась съ ними
Въ бесѣдѣ дружеской грозы.

Не ихъ вина: пойми, колѣ можетъ,
Органы жизнь, глухонѣмой!
Увы, души въ немъ не встревожить
И голосъ матери самой.

Да, мы вѣримъ, что автору этого стихотворенія понятень и смыслъ и языки природы...

H. H.

Историко-національныя отраженія лирики Тютчева.

Намъ остается указать еще на одинъ видъ мотивовъ поэзіи Тютчева — историко-національныя отраженія его лирики. Какъ поэтъ историческихъ переживаній, Тютчевъ стоитъ между представителями старой школы и новѣйшими представителями этого направлениія (Майковъ, Розенгеймъ, Голенищевъ-Кутузовъ).

Поклонникъ Карамзина, которому онъ посвятилъ прочувствованное юбилейное стихотвореніе, Тютчевъ во многомъ повторяетъ мотивы старыхъ поэтовъ, въ родѣ Языкова, Хомякова, Растропчиной. Онъ одинъ изъ представителей того направлениія, которое Пыпинъ обозначилъ именемъ офиціальной народности. Такія его стихотворенія, какъ «Декабристамъ», «На путь вѣкъ», «Князю А. А. Суворову», «На смерть графа Д. Н. Блудова», «На смерть графа М. Н. Муравьевъ», заключаютъ въ себѣ наиболѣе опредѣленно выраженные мотивы этой народности.

Но у Тютчева есть и другая группа стихотворений, проникнутых идеями более высокого типа, родившимися его съ такими писателями, какъ Достоевскій, Вл. Соловьевъ, Ив. Аксаковъ. Горячая, нѣсколько мистическая любовь къ родной землѣ и сочувствіе единомысленнымъ славянамъ сближаютъ Тютчева съ поэтами славянофилами.

«Въ Россію можно только вѣрить» — заключаетъ Тютчевъ одно изъ своихъ стихотворений, посвященныхъ родинѣ, будущее которой нерѣдко повергало его въ раздумье, какъ обѣ этомъ свидѣтельствуютъ такія стихотворенія, какъ «Надъ этой темною толпой», «Ужасный сонъ тяготѣль надъ нами», «Хотя бъ она сошла съ лица земного». Чаяніями славянофильства проникнуто его небольшое стихотвореніе «Не гулъ молвы прошелъ въ народѣ», сближающее Тютчева съ воззрѣніями Достоевскаго, высказанными въ «Дневникѣ писателя» во время войны 1877—1878 гг. Чуткое сердце поэта готово вѣрить, что

Все лучшее въ Россіи, все живое

будетъ жить для блага родного края; онъ съ теплымъ чувствомъ вспоминаетъ этотъ «край долготерпѣнья», онъ вѣритъ, что «золотой лучъ свободы»

Блеснетъ... и оживитъ,
И сонъ разгонитъ и туманы.

Въ посланіи къ кн. Горчакову онъ ставитъ въ заслугу этому государственному человѣку —

Обманутой, обиженнай Россіи
Вы честь спасли, — и выше нѣть заслугъ.

Въ трогательномъ стихотвореніи «На смерть графа Д. Н. Блудова» Тютчевъ привѣтствуетъ годину обновленья,

Великій день, новозавѣтный день.

Эти горячія симпатіи Тютчева, возвышающія его, какъ гражданина и человѣка, заставляютъ забывать и узость его общественной, построенной на Карамзинскихъ идеалахъ, программы и тѣ неэстетической выходки, которыя сквозятъ во многихъ его пьесахъ. Условная антиобщественная и антиисторическая точка зреінія омрачила въ общемъ свѣтлое и симпатичное міровоззрѣніе Тютчева; она заставляла его видѣть «растлѣніе духа», господство безвѣрія, фетишизмъ и холопство цивилизаціи тамъ, гдѣ другіе, болѣе просвѣщенные писатели, видѣли зерно здороваго общественного развитія. Характерны въ этомъ отношеніи стихотворенія «Декабристамъ» и «Теперь тебѣ не до стиховъ». Въ настоящее время, при научномъ освѣщеніи нашего исторического прошлаго, слишкомъ наивными кажутся взгляды Тютчева на «жертвы мысли безразсудной», «богохульные умы и богомерзкие народы», его слѣпая вѣра въ возможность обновленія родины вѣръ серіозной работы общественного сознанія.

Курковскій.

Творчество Тютчева.

Стихи Тютчева представляют тот же характеръ внутренней искренности и необходимости. Вотъ почему онъ и долженъ быть причисленъ къ Пушкинскому періоду, хотя, по особенной случайности, его стихи проникли въ русскую печать уже тогда, когда почти отзвучали пѣсни Пушкина и прочихъ нашихъ поэтовъ, когда время властительства поэзіи надъ умами уже миновало. Десятками лѣтъ пережилъ Тютчевъ и Пушкина, и весь его поэтическій періодъ, но оставался вѣренъ себѣ и своему таланту. Не переставая быть «современнѣйшимъ изъ современниковъ» по своему горячему сочувствію къ совершающейся кругомъ его жизни, онъ, среди диссонансовъ новѣйшей поэзіи, продолжалъ дарить насы гармоніей стариннаго, но никогда не старѣющаго, поэтическаго строя. Онъ былъ среди наасъ, подобно мастеру какой-либо старой живописной школы, еще живущей и творящей въ его лицѣ, но не допускающей ни повторенія ни подражанія.

Отмѣтивъ эту общую историческую черту его поэзіи, перейдемъ теперь къ особенностямъ его таланта.

Стихи Тютчева отличаются такою *непосредственностью творчества*, которая, въ равной степени, по крайней мѣрѣ, едва ли встрѣчается у кого-либо изъ поэтовъ. Поэзія не была для него сознанною специальностью, своего рода литературнымъ Fach, какъ выражаются нѣмцы, общественнымъ, официальнымъ положеніемъ или же такою обязанностью, которой и самъ поэтъ невольно признаетъ за собой, признаются и другіе за нимъ; напротивъ, до 1836 года никто въ немъ и не признаетъ поэта, т.-е. до той поры, какъ служившій въ Мюнхенѣ князь Иванъ Гагаринъ, собравъ цѣлую тетрадь его стихотвореній, привезъ ее къ Пушкину, и Пушкинъ далъ имъ мѣсто въ своемъ «Современникѣ», хотя и безъ подписи полнаго имени Тютчева. Съ 1840 года его стихи снова перестаютъ появляться въ печати, и такое воздержаніе отъ печатной гласности продолжается четырнадцать лѣтъ, въ теченіе которыхъ Тютчевъ не напечаталъ ни строчки, хотя и не переставалъ писать. Но какъ писать? На вопросъ: надъ чѣмъ вы теперь работаете, онъ не могъ бы отвѣтить, подобно другимъ: «пишу стихи: вчера кончилъ стихотвореніе къ Аглаѣ, сегодня додѣлаю «Огнедышущую гору»; имѣю намѣреніе обработать въ стихахъ такой-то сюжетъ». Онъ былъ поэтъ по призванію, которое было могущественнѣе его самого, но не по professiї. Онъ священнодѣйствовалъ, какъ поэтъ, но не замѣчая, не сознавая самъ своего священнодѣйствія, не облекаясь въ жреческую хламиду, не исполняясь нѣкотораго благоговѣнія къ себѣ и своему жречеству. Его умъ и его сердце были, повидимому, постоянно заняты: умъ виталъ въ области отвлеченныхъ, философскихъ или историческихъ помысловъ; сердце искало живыхъ ощущеній и треволненій; но прежде всего

и во всемъ онъ былъ поэтъ, хотя собственно стиховъ онъ оставилъ по себѣ, сравнительно, и не очень много. Стихи у него не были плодомъ труда, хотя бы и вдохновеннаго, но все же труда, подчасъ даже усидчиваго у иныхъ поэтовъ. Когда онъ ихъ писалъ, то писалъ невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что онъ не могъ ихъ не написать: вѣрнѣе сказать, онъ ихъ не писалъ, а только записывалъ. Они не сочинялись, а творились. Они сами собой складывались въ его головѣ, и онъ толькоронялъ ихъ на бумагу, на первый попавшійся лоскутокъ. Если же некому было припрятать къ мѣсту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нерѣдко и пропадали. Эти-то лоскутки и постарался подобрать князь И. Гагаринъ, когда вздумалъ показать стихи Тютчева Пушкину; но очень можетъ быть, что многое пропало и истребилось безвозвратно. Къ Тютчеву именно примѣняются слова Гётеvского пѣвца:

Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet¹⁾.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чёмъ же состояла награда, Lohn, пѣвца Тютчева, во время его 22-лѣтняго пребыванія за границею, какъ не въ самой спѣтой пѣсни, никѣмъ кромѣ его не слышимой? Условіемъ всякаго преуспѣянія таланта считается сочувственная среда, живой обмѣнъ впечатлѣній. А Тютчеву четверть вѣка приходилось пѣть какъ бы въ безвоздушномъ пространствѣ. Когда читашь, напримѣръ, его стихи, написанные къ первой женѣ и къ другимъ иностранкамъ, ни слова не зналъ по-русски, да едва ли и подозрѣвавшимъ въ немъ поэта, невольно спрашивашь себя: для чего же и для кого онъ писалъ? Уже гораздо позже, въ Россіи, когда подросли его дочери и вторая его супруга выучилась по-русски, стали тщательно наблюдать за нимъ и подбирать лоскутки съ его стихами, а иногда и записывать стихи прямо подъ его диктовку. Такъ, однажды, въ осенній дожливый вечеръ, возвратясь домой на извозчичьихъ дрожжахъ, почти весь промокшій, онъ сказалъ встрѣтившій его дочери: *j'ai fait quelques rimes*, и, пока его раздѣвали, продиктовалъ ей слѣдующее прелестное стихотвореніе:

Слезы людскія, о слезы людскія,
Льется вы ранней и поздней порой,
Льется безвѣстныя, льется незримыя,

Неистощимыя, неисчислимыя,
Льется какъ льются струи дождевыя,
Въ осень глухую, порою ночной...

¹⁾ Въ русскомъ перевѣдѣ К. С. Аксакова:

Пою какъ птица вольная,
Что по вѣтвямъ летаетъ,
И пѣснь свободная моя
Богато награждаетъ.

Здѣсь почти нагляденъ для насъ тотъ истинно-поэтическій процессъ, которымъ виѣшнее ощущеніе капель частаго осеннаго дождя, лившаго на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется въ ощущеніе слезъ и облекается въ звуки, которые сколько словами, столько же самою музикальностью своею, воспроизводятъ въ насъ и впечатлѣніе дождливой осени, и образъ плачущаго людскаго горя... И все это въ шести строчкахъ!

Еще болѣе объясняется намъ характеръ его поэтическаго творчества, когда мы припомнимъ, что этотъ человѣкъ, по его собственному признанію, тверже выражалъ свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писалъ исключительно на французскомъ языкѣ и, конечно, на десять десятыхъ болѣе говорилъ въ своей жизни по-французски, чѣмъ по-русски. А между тѣмъ стихи у Тютчева творились *только по-русски*. Значить, изъ глубочайшей глубины его духа била ключомъ у него поэзія, изъ глубины недосягаемой даже для его собственной воли; изъ тѣхъ тайниковъ, гдѣ живеть наша первообразная природная стихія, гдѣ обитаетъ самая правда человѣка... Здѣсь кстати привести то, что самъ Тютчевъ высказалъ уже въ 1861 году, въ стихахъ на юбилей князя Вяземскаго, по поводу «музы» этого замѣчательнаго въ своемъ родѣ поэта:

Давайте жъ, князь, поднимемъ въ честь богинѣ
Вашъ полный пѣнистый фіалъ,
Богинѣ въ честь, хранившей благородно
Залогъ всего, что свято для души,
Родную рѣчу...

Тютчевъ могъ еще съ большимъ основаніемъ обратить это воззваніе къ своей собственной музѣ.

Само собой разумѣется, что при подобномъ процессѣ творчества, Тютчевъ не способенъ быть ничего творить въ обширномъ размѣрѣ. Поэтому самая лучшая его стихотворенія — короткія; они цѣльны, словно отлиты изъ одного куска чистаго золота. Въ его талантѣ, какъ уже и замѣчено было нашими критиками, нѣтъ никакихъ эпическихъ или драматическихъ началъ. Его поэзія, какъ выразились бы нѣмецкіе эстетики, вполнѣ *субъективна*; ея поводъ — всегда въ личномъ ощущеніи, впечатлѣніи и мысли; она неспособна отрѣшаться отъ личности поэта и гостить въ области вымысла, въ мірѣ виѣшнемъ, отвлеченному, чуждому его личной жизни. Онъ ничего не выдумывалъ, а только *выражался*. Онъ не былъ тѣмъ *maestro*, тѣмъ художникомъ-хозяиномъ въ поэзіи, какимъ, напримѣръ, является Пушкинъ, этотъ полновластный распорядитель звуковъ и формъ, разнообразно направлявшій силы своего гenія, по указанію своей свободной поэтической воли, умѣвшій творить не однимъ мгновеннымъ наитіемъ вдохновенія, но и медленнымъ вдохновеннымъ трудомъ. Да и у всѣхъ поэтовъ, рядомъ съ непосредственнымъ творчествомъ, слышится *дѣланіе*, обработка. У Тютчева дѣланнаго нѣтъ

ничего: все творится. Оттого нерѣдко въ его стихахъ видна какая-то вѣнчанная небрежность: попадаются слова устарѣлые, вышедшия изъ употребленія, встречаются неправильные риѳмы, которыя, при малѣйшей наружной отдѣлкѣ, легко могли бы быть замѣнены другими.

Этимъ опредѣляется и отчасти ограничивается его значеніе, какъ поэта. Но это же придаетъ его поэзіи какую-то особенную прелесть задушевности и личной искренности. Хомяковъ — самъ лирический стихотворецъ — говорилъ, и, по нашему мнѣнію, справедливо, что не знаетъ другихъ стиховъ, кромѣ Тютчевскихъ, которые бы служили лучшимъ образцомъ чистѣйшей поэзіи, которые бы въ такой мѣрѣ, насквозь, *durch und durch*, были проникнуты поэзіей.

Аксаковъ.

Особенности содержания и формы поэзіи Тютчева.

Тютчевъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ; мы скажемъ болѣе: въ нашихъ глазахъ, какъ оно ни обидно для самолюбія современниковъ, Тютчевъ, принадлежащий къ поколѣнію предыдущему, стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ собратовъ по Аполлону. Легко указать на тѣ отдѣльныя качества, которыми превосходятъ его болѣе даровитые изъ теперешнихъ¹⁾ нашихъ поэтовъ: на плѣнительную, хотя нѣсколько однообразную, грацію Фета, на энергическую, часто сухую и жесткую страсть Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одномъ Тютчевѣ лежить печать той великой эпохи, къ которой онъ относится и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ; въ немъ одномъ замѣчается та соразмѣрность таланта съ самимъ собою, та соотвѣтственность его съ жизнью автора, — словомъ, хотя часть того, что въ прошломъ развитіи своемъ составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій. Кругъ Тютчева не обширенъ — это правда, но въ немъ онъ дома. Талантъ его не состоить изъ безсвязно разбросанныхъ частей: онъ замкнутъ и владѣеть собою; въ немъ нѣть другихъ элементовъ, кромѣ элементовъ чисто лирическихъ, но эти элементы опредѣлительно ясны и срослись съ самою личностью автора; отъ его стиховъ не вѣтъ сочиненіемъ; они всѣ кажутся написанными на извѣстный случай, какъ того хотѣлъ Гёте, то-есть они не придуманы и выросли сами, какъ плодъ на деревѣ, и по этому драгоценному качеству мы узнаемъ, между прочимъ, вліяніе на нихъ Пушкина, видимъ въ нихъ отблескъ его времени.

Стихотворенія Тютчева отличаются неподдѣльностью его вдохновенія, тѣмъ поэтическимъ дуновеніемъ, которымъ вѣтъ отъ его страницъ; подъ наитіемъ этого вдохновенія, самый языкъ Тютчева часто поражаетъ читателя счастливой смѣстью и почти пушкин-

¹⁾ Статья писана въ 1854 г.

ской красотой своихъ оборотовъ. Любопытно также наблюдать, какимъ образомъ зарождались въ душѣ автора тѣ, въ сущности немногочисленныя, стихотворенія (ихъ не болѣе ста), которыми онъ означилъ пройденный свой путь. Если мы не ошибаемся, каждое его стихотвореніе начиналось мыслью, но мыслью, которая, какъ огненная точка, вспыхивала подъ вліяніемъ глубокаго чувства или сильнаго впечатлѣнія; вслѣдствіе этого, если можно такъ выразиться, свойства происхожденія своего, мысль Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченою, но всегда сливается съ образомъ, взятымъ изъ міра души или природы, проникается имъ, и сама его проникаетъ нераздѣльно и неразрывно. Исключительно почти мгновенно лирическое настроеніе поэзіи Тютчева заставляетъ его выражаться сжато и кратко, какъ бы окружить себя стыдливо-тѣсной и изящной чертой; поэту нужно высказать одну мысль, одно чувство, слиться вмѣстѣ, и онъ, большею частью, высказываетъ ихъ единымъ образомъ, именно потому, что ему нужно высказаться, потому что онъ не думаетъ ни щеголять своимъ ощущеніемъ передъ другими ни играть съ нимъ передъ самимъ собой. Въ этомъ смыслѣ поэзія его заслуживаетъ названія дѣльной, то-есть искренней, серіозной. Самая короткія стихотворенія Тютчева почти всегда самая удачная. Чувство природы въ немъ необыкновенно тонко, живо и вѣрно. Сравненія человѣческаго міра съ родственнымъ ему міромъ природы никогда не бываютъ натянуты и холодны у Тютчева, не отзываются наставническимъ тономъ, не стараются служить поясненіемъ какой-нибудь обыкновенной мысли, явившейся въ головѣ автора и принятой имъ за собственное открытие. Кромѣ всего этого, въ Тютчевѣ замѣтенъ тонкій вкусъ — плодъ многосторонняго образованія, чтенія и богатой жизненной опытности. Языкъ страсти, языкъ женскаго сердца ему знакомъ и дается ему. Стихотворенія Тютчева, почерпнутыя имъ не изъ собственнаго родника, какъ-то: «Наполеонъ» и др., намъ нравятся менѣе. Въ дарованіи Тютчева нѣть никакихъ драматическихъ или эпическихъ началъ, хотя умъ его, безспорно, проникъ во всѣ глубины современныхъ вопросовъ исторіи.

И. Т.

Личность Тютчева.

Въ 1822 году переѣздъ изъ Россіи за границу значилъ не то, что теперь. Это просто былъ временный разрывъ съ отечествомъ. Желѣзныхъ дорогъ и электрическихъ телеграфовъ тогда еще и въ поминѣ не было; почтовыя сообщенія совершались медленно; русские путешественники были рѣдки. Отторгнутый отъ Россіи въ самой ранней, нѣжной молодости, когда ему было съ небольшимъ 18 лѣтъ, закинутый въ дальний Мюнхенъ, предоставленный самому себѣ, Тютчевъ одинъ, безъ руководителей, переживаетъ на

чужбинѣ весь процессъ внутренняго развитія, отъ юности до зрѣлаго мужества, и возвращается въ Россію на водвореніе, когда ему пошелъ уже пятый десятокъ лѣтъ. Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевымъ за границею...

Представимъ же его себѣ одного, брошенаго чуть не мальчикомъ въ водоворотъ высшаго иностраннаго общества, окруженаго всѣми соблазнами большого свѣта, искушаемаго собственнымъ дарованіями, которыя тотчасъ же, съ перваго его появленія въ этой блестящей европейской средѣ, доставили ему столько сочувствія и успѣха, — наконецъ, любимаго, балуемаго женщинами, съ сердцемъ, падкимъ на увлеченія страстныя, безоглядочныя... Какъ, казалось бы, этой 18-лѣтней юности не поддаться обольщеніямъ тщеславія, даже гордости? Какъ не растратить въ этомъ вихрѣ суеты, въ обаяніи внѣшней жизни, сокровища жизни внутренней, высшія стремленія духа? Не слѣдовало ли ожидать, что и онъ, подобно многимъ нашимъ поэтамъ, поклонится кумиру, называемому свѣтомъ, пріобщится его злой пустотѣ, и въ погонѣ за успѣхами принесетъ не мало нравственныхъ жертвъ въ ущербъ и правдѣ и таланту?

Но здѣсь-то и поражаетъ насъ своеобразность его духовной природы. Именно къ тщеславію онъ и былъ всего менѣе склоненъ. Можно сказать, что въ тщеславіи у Тютчева былъ *органический недостатокъ*. Онъ любилъ свѣтъ — это правда: но не личный успѣхъ, не утѣхи самолюбія влекли его къ свѣту. Онъ любилъ его блескъ и красивость, ему нравилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на общественныхъ высотахъ, гдѣ въ роскошной сценической обстановкѣ выступаетъ изящная внѣшность европейскаго общежитія со всею прелестью утонченной культуры; гдѣ, — во имя единства цивилизациіи, условныхъ формъ и приличій, — сходятся граждане всего образованнаго міра, какъ равноправная группа актеровъ. Но любя свѣтъ, всю жизнь вращаясь въ свѣтѣ, Тютчевъ ни въ молодости не былъ ни потомъ не сталъ «свѣтскимъ человѣкомъ». Соблюдавъ, по возможности, всѣ внѣшнія свѣтскія приличія, онъ не рабствовалъ предъ ними душою, не покорялся условной свѣтской «морали», хранилъ полную свободу мысли и чувства. Блескъ и обаяніе свѣта возбуждали его нервы, и словно ключомъ было наружу его вдохновенное, граціозное остроуміе. Но самое проявленіе этой способности не было у него дѣломъ *тщеславнаго расчета*: онъ самъ тутъ же забывалъ сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлялъ другимъ авторскія права на свои, нерѣдко геніальныя, изреченія. Вообще, какъ въ устномъ словѣ, точно такъ и въ поэзіи, его творчество только въ самую минуту творенія, не далѣе, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись въ рѣчи или въ стихахъ, угасало и исчезало изъ памяти.

Онъ никогда не становился ни въ какую позу, не рисовался, былъ всегда самъ собою, таковъ какъ есть, простъ, независимъ,

произволенъ. Да ему было и не до себя, то-есть не до самолюбивыхъ соображеній о своемъ личномъ значеніи и важности. Онъ слишкомъ развлекался и увлекался предметами, для него несравненно болѣе занимательными: съ одной стороны блестаніемъ свѣта, съ другой — личною, искреннею жизнью сердца, и затѣмъ высшими интересами знанія и ума. Эти послѣдніе притягивали его къ себѣ еще могущественнѣе, чѣмъ свѣтъ. Онъ уже и въ Россіи учился лучше, чѣмъ многие его сверстники-поэты, а германская среда была еще способнѣе расположить къ ученію, чѣмъ тогдашняя наша русская, и особенно петербургская. Переѣхавъ за границу, Тютчевъ очутился у самаго родника европейской науки: тамъ она была въ подлинникѣ, а не въ жалкой копіи или карикатурѣ, у себя, въ своемъ дому, а не въ гостяхъ, на чужой квартирѣ.

Окунувшись разомъ въ атмосферу стройнаго и строгаго нѣмецкаго мышленія, Тютчевъ быстро отрѣшается отъ всѣхъ недостатковъ, которыми страдало тогда образованіе у насть въ Россіи и пріобрѣтаетъ обширныя и глубокія свѣдѣнія. По свидѣтельству одного иностранца (барона Пфеффеля), напечатавшаго въ концѣ прошлаго года небольшую статью о немъ въ одной парижской газетѣ, Тютчевъ ревностно изучалъ нѣмецкую философію, часто водился съ знаменитостями нѣмецкой науки, между прочимъ съ Шеллингомъ, съ которымъ часто спорилъ, доказывая ему несостоятельность его философскаго истолкованія догматовъ христіанской вѣры. Тотъ же Пфеффель, вспоминая эти годы молодости Тютчева въ Мюнхенѣ, выражается о немъ слѣдующимъ образомъ въ одномъ частномъ письмѣ, которое намъ довелось прочесть: «*nous sudissions le charme de ce merveilleux esprit* (мы находились подъ очарованіемъ этого диковиннаго ума)». Не менѣе замѣчателенъ и отзывъ И. В. Кирѣевскаго, который, уже въ 1830 году, пишетъ изъ Мюнхена къ своей матери въ Москву, про 27-лѣтнія Тютчева: «онъ уже однимъ своимъ присутствиемъ могъ бы быть полезенъ въ Россіи: такихъ европейскихъ людей у насть перечесть по пальцамъ». Тютчевъ обладалъ способностью читать съ поразительной быстротою, удерживая прочитанное въ памяти до малѣйшихъ подробностей, а потому и начитанность его была изумительна, — тѣмъ болѣе изумительна, что времени для чтенія, повидимому, оставалось у него немного. Вообще, при его необыкновенной талантливости, занятія наукой не мѣшили ему вести, по наружности, самую разсѣянную жизнь и не оставляли на немъ никакой пыли труда, той почтенной пыли, которую многие ученые любятъ выставлять на показъ и которая такъ способна снискивать благоговѣніе толпы.

Могутъ замѣтить, что самая основательность пріобрѣтенной Тютчевымъ образованности достаточно предохраняла его отъ искушеній того мелкаго тщеславія, которое въ состояніи довольствоваться поверхностными успѣхами въ свѣтѣ или дешевою популярностью въ полуневѣжественныхъ кругахъ. Но для Тютчева, при богатствѣ

его знанія и даровъ, существовала возможность искушеній болѣе высшаго порядка. Ему естественно было пожелать для себя не только извѣстности, но и славы. Десятой доли его свѣдѣній и талантовъ было бы довольно иному для того, чтобы сумѣть пріобрѣсти почести и значеніе, занять выгодную общественную позицію, стать оракуломъ и програмѣть, особенно въ нашемъ отечествѣ. Если бы онъ хоть сколько-нибудь о томъ постарался, молва о немъ прошумѣла бы въ Россіи еще въ первой половинѣ его жизни, и слава умнаго человѣка и поэта не осѣнила бы его такъ поздно, и притомъ въ предѣлахъ только избранныхъ круговъ русскаго общества. Отъ времени до времени доходили, конечно, о немъ, чрезъ русскихъ путешественниковъ, извѣстія и въ Россію, подобные отзыву Кирѣевскаго, но, тѣмъ не менѣе, имя его въ отечествѣ долго оставалось невѣдомымъ, и даже Жуковскій, если не ошибаемся уже въ 1841 году, встрѣтясь съ Тютчевымъ гдѣ-то за границею, писалъ о немъ, какъ о какомъ-то неожиданномъ, пріятномъ открытии. Мы уже знаемъ, какъ хлопоталъ онъ о своей стихотворческой извѣстности!... Все блестящее соединеніе даровъ было у Тютчева какъ бы оправлено скромностью, но скромностью особаго рода, не выставлявшееся на видъ и въ которой не было ни малѣйшей умысленности или аффектаціи. Эта замѣчательная психическая черта требуетъ пристального разсмотрѣнія.

Если, несмотря на всѣ соблазны свѣта и увлеченія сердца, Тютчевъ даже и въ молодости постоянно расширялъ кругозоръ своей мысли и свои познанія, которымъ такъ дивились потомъ и русские и иностранцы, — все же было бы ошибкою предполагать здѣсь, съ его стороны, какое-либо дѣйствіе воли, нравственный подвигъ, побѣду надъ искушеніями, и т. п. Нисколько. Лѣнивый, избалованный съ дѣтства, непривыкшій къ обязательному труду, но притомъ совершенно равнодушный къ внѣшнимъ выгодамъ жизни, онъ только свободно подчинялся влеченіямъ своей, въ высшей степени интеллектуальной, природы. Онъ только уголялъ свой врожденный, всегда томившій его, умственный голодъ. Съ наслажденіемъ вкушаль онъ отъ готовой трапезы знанія и разумѣнія, но никогда не удовлетворялся ею вполнѣ; никогда не испытывалъ того самодовольства сытости, которое съ такою пріятностью ощущаютъ умы менѣе требовательные... Вообще, всякое самодовольство было ненавистно его существу.

Въ томъ-то и дѣло, что этотъ человѣкъ, котораго многіе, даже изъ его друзей, признавали, а можетъ-быть признаютъ еще и теперь, за «хорошаго поэта» и сказателя острыхъ словъ, а большинство — за свѣтскаго говоруна, да еще самой пустой, праздной жизни, — этотъ человѣкъ, рядомъ съ мѣткимъ, изящнымъ остроумiemъ, обладалъ умомъ необычайно прозорливымъ, не допускавшимъ никакого самообольщенія. Вообще это былъ духовный организмъ, трудно дающійся пониманію: тонкій, сложный, многострунныій. Его внутреннее содержаніе было самаго серіознаго качества. Самая способность Тют-

чева отвлекаться отъ себя и забывать свою личность объясняется тѣмъ, что въ основѣ его духа жило искреннее *смиреніе*: однакожъ не какъ христіанская высшая добродѣтель, а, съ другой стороны, какъ прирожденное личное и отчасти *народное* свойство (онъ былъ весь добродушіе и незлобіе); съ другой стороны, какъ постоянное философское сознаніе ограниченности человѣческаго разума, и какъ постоянное же сознананіе своей личности нравственной немощи. Преклоняясь умомъ предъ высшими истинами вѣры, онъ возводилъ *смиреніе* на степень философско-нравственного исторического принципа. Поклоненіе человѣческому я было вообще, по его мнѣнію, тѣмъ лживымъ началомъ, которое легло въ основаніе исторического развитія современныхъ народныхъ обществъ на западѣ. Мы увидимъ, какъ рѣзко изобличаетъ онъ въ своихъ политическихъ статьяхъ это гордое самообожаніе разума, связывая съ нимъ объясненіе европейской революціонной эры, и какъ, наоборотъ, возвеличиваетъ онъ значеніе духовно-нравственныхъ стихій русской народности. Понятно, что если такова была точка отправленія его философскаго міросозерцанія, то тѣмъ менѣе могло быть имъ допущено поклоненіе своему личному я. При всемъ томъ его скромность относительно своей личности не была въ немъ чѣмъ-то усвоеннымъ, сознательно пріобрѣтеннымъ. Его я само собою забывалось и утопало въ богатствѣ внутренняго міра мысли; умалялось до исчезновенія въ виду откровенія Божія въ исторіи, которое всегда могущественно приковывало къ себѣ его умственные взоры. Вообще его умъ, непрерывно питаемый и обогащаемый знаніемъ, постоянно мыслилъ. Каждое его слово сочилось мыслью. Но такъ какъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, онъ былъ поэтъ, то его процессъ мысли не былъ тѣмъ отвлеченнымъ, холоднымъ, логическимъ процессомъ, какимъ онъ является, напримѣръ, у многихъ мыслителей Германіи: нѣтъ, онъ не разобщался въ немъ съ художественно-поэтическою стихіею его души и весь насквозь проникался ею. При этомъ его уму была въ сильной степени присуща *иронія*, — но не Ѣдкая иронія скептицизма и не злая насмѣшка отрицанія, а какъ свойство, нерѣдко встрѣчаемое въ умахъ особенно крѣпкихъ, всестороннихъ и зоркихъ, отъ которыхъ не ускользаютъ, рядомъ съ важными и несомнѣнными, комическая и двусмысленная черты явленій. Въ ироніи Тютчева не было ничего грубаго, желчнаго и оскорбительнаго; она была всегда остра, игрива, изящна и особенно тонко задѣвала замашки и обольщенія человѣческаго самолюбія. Конечно, при такомъ свойствѣ ума, не могли же иначе, какъ въ ироническомъ свѣтѣ, представляться ему и самолюбивыя поползновенія его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали.

Но кромѣ того, его я уничтожалось и подавлялось въ немъ, какъ мы уже сказали, сознаніемъ недосягаемой высоты христіанского идеала и своей неспособности къ напряженію и усилию. Потому что, рядомъ съ его, такъ сказать, *безкорыстной*, безличною жизнью мысли, была другая область, гдѣ обрѣталъ онъ самого себя всецѣло,

гдѣ онъ жилъ только для себя, всею полнотою своей личности. То была жизнь сердца, жизнь чувства, со всѣми ея заблужденіями, треволненіями, муками, поэзіей, драмою страсти; жизнь, которой, впрочемъ, онъ отдавался всякий разъ не иначе, какъ вслѣдствіе самаго искренняго, внезапно овладѣвшаго имъ увлеченія, — отдавался безъ умысла и безъ борьбы. Но она была у него про себя, не была предметомъ похвалы и ликованія, всегда обращалась для него въ источникъ тоски и скорби и оставляла болѣзnenный слѣдъ въ его душѣ.

Душа моя — элизіумъ тѣней,
Тѣней безмолвныхъ, свѣтлыхъ и прекрасныхъ,
Ни замысламъ годинъ буйной сей,
Ни радостямъ, ни горю не причастныхъ.
Душа моя — элизіумъ тѣней,
Что общаго межъ жизнью и тобою?...

Такъ высказывался онъ самъ въ своихъ стихахъ. Замыслы, радости и горе годины не переставали однакожъ занимать и тревожить его умъ; страстная увлеченія сердца не ослабляли дѣятельности его философской мысли, но они тѣмъ не менѣе вносили тягостное раздвоеніе въ его бытіе. Ничто не могло омрачить въ немъ сознанія правды. Немерцающій свѣточъ ума и совѣсти постоянно разоблачалъ предъ нимъ всю тьму противорѣчій между признаваемымъ, сочувственнымъ его душѣ, нравственнымъ идеаломъ и жизнью, между возвышенными запросами и отвѣтомъ.

О вѣщая душа моя,
О сердце полное тревоги,
О какъ ты бѣешься на порогѣ
Какъ бы двойнаго бытія!...

Этотъ крикъ сердечной боли, какъ бы невольно вырвавшійся изъ груди поэта, разрѣшается, чрезъ нѣсколько строкъ, воплемъ скорби и вѣрующаго смиренія въ слѣдующихъ стихахъ:

Пускай страдальческую грудь
Волнуютъ страсти роковыя —
Душа готова, какъ Марія,
Къ ногамъ Христа наѣхъ прильнуть...

Самая способность смиренія, этой силы очищающей, уже служитъ залогомъ высшихъ свойствъ его природы. Біографу Тютчева нѣть затѣмъ никакой надобности входить въ подробности этой стороны его существованія болѣе, чѣмъ сколько нужно для уразумѣнія его нравственнаго облика и сокрытыхъ мотивовъ его поэзіи.. Но не въ одной этой области томился онъ внутреннимъ раздвоеніемъ и душевными муками.

Умъ сильный и твердый — при слабодуши, при безсилії воли, доходившемъ до немощи; умъ зоркій и трезвый — при чувствительности нервовъ самой тонкой, почти женской, — при раздражительности, вспламенимости, однимъ словомъ при творческомъ процессѣ души поэта, со всѣми ея мгновенно вспыхивающими призраками и самообманомъ; умъ дѣятельный, не знавшій ни отдыха ни истомы — при совершенной неспособности къ дѣйствію, при усвоенныхъ съ дѣства привычкахъ лѣни, при необоримомъ отвращеніи къ внѣшнему труду, къ какому бы то ни было принужденію; умъ постоянно голодный, пытливый, серіозный, сосредоточенно проникавшій во всѣ вопросы исторіи, філософиі, знанія; душа ненасытно жаждущая наслажденій, волненій, разсѣянія, страстно отдававшаяся впечатлѣніямъ текущаго дня, такъ что къ нему можно было бы примѣнить его собственные стихи про творенія природы весною:

Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный,
Всѧ въ настоящемъ разлита.

Духъ мыслящій, неуклонно сознающій ограниченность человѣческаго ума, но въ которомъ сознаніе и чувство этой ограниченности недовольно восполнялись живительнымъ началомъ вѣры; вѣра, признаваемая сердцемъ, но не владѣвшая ими всецѣло, не управлявшая волею, недостаточно освящавшая жизнь, а потому не вносившая въ нее ни гармоніи ни единства... Въ этой двойственности, въ этомъ противорѣчіи и заключался трагизмъ его существованія. Онъ не находилъ ни успокоенія своей мысли ни мира своей душѣ. Онъ избѣгалъ оставаться наединѣ съ самимъ собою, не выдерживалъ одиночества, и какъ ни раздражался «бесмертной пошлостью людской», по его собственному выраженію, однако же въ силахъ былъ обойтись безъ людей, безъ общества, даже на короткое время.

Только поэтическое творчество было въ немъ цѣльно: вслѣдствіе именно этой сложности его духовной природы, не могло быть въ немъ продолжительно, и вслѣдъ за мгновеніемъ творческаго наслажденія, онъ уже стоялъ выше своихъ произведеній, но уже не могъ довольствоваться этими неполными, и потому не совсѣмъ вѣрными, по его сознанію, отголосками его думъ и ощущеній; не могъ признавать ихъ за дѣланіе достаточно важное и цѣнное, достойно отвѣчающее требованіямъ его ума и таланта. А что требованія эти бывали велики, тревожили иногда его собственную душу съ настоящивостью и властью, что пламень таланта порою жегъ его самого и стремился вырваться на волю; что эти высокіе призывы, остававшіеся неудовлетворенными, наводили на него припадки меланхоліи и унынія, особенно въ тридцатыхъ годахъ его жизни, во время пребыванія за границей, гдѣ впервые, вдали отъ отечества, запевелились и заговорили въ немъ всѣ силы его дарованій, гдѣ не могъ онъ порою не тяготиться своимъ одиночествомъ, — обо всемъ этомъ мы узнаемъ, отчасти, изъ сохранившихся писемъ его первой жены. Именно ради

разсѣянія и отпросился онъ въ плаваніе съ дипломатическими депешами къ Гониическимъ островамъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ также написанныя около того же времени слѣдующія два стихотворенія, представляющія, кромѣ своего высокаго достоинства, психологической и биографической интересъ. Первое изъ нихъ то самое *Silentium*, которое, напечатанное въ 1835 году въ «Молвѣ», не обратило на себя никакого вниманія и въ которомъ такъ хорошо выражена вся эта немощь поэта — передать точными словами, логическою формулой рѣчи, внутреннюю жизнь души въ ея полнотѣ и правдѣ:

*Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пускай въ душевной глубинѣ
И вѣходить и зайдутъ онъ,
Какъ звѣзды ясныя въ ночи:
Любуйся ими и молчи.
Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?*

*Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая — возмутишь ключи;
Питайся ими и молчи.
Лишь жить въ самомъ себѣ умѣй!
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
Таинственно-волшебныхъ думъ:
Ихъ заглушитъ наружный шумъ,
Дневные ослѣпять лучи,—
Внимай ихъ пѣнью — и молчи.*

Въ другомъ превосходномъ стихотвореніи эта тоска доходитъ уже своего высшаго выраженія.

*Какъ надъ горячею золой
Дымится свитокъ и сгораетъ,
И огнь сокрытый и глухой
Слова и строки пожираетъ,—
Такъ грустно тлится жизнь моя
И съ каждымъ днемъ уходитъ дымомъ;*

*Такъ постепенно гасну я
Въ однообразы нестерпимомъ
О небо! если бы хоть разъ
Сей пламень развелся по волѣ,
И не томясь, не мучась долѣ,
Я просіялъ бы — и погасъ!*

Но и потомъ, гораздо позже, нерѣдко вслѣдъ за игривыми, шутливыми словомъ, можно было подслушать какъ бы невольные стоны, исторгавшіеся изъ его груди. Его умъ сверкалъ ироніей, — его душа ныла... А между тѣмъ не было, повидимому, человѣка пріятнѣе и любезнѣе. Его присутствіемъ оживлялась всякая бесѣда; неистощимо сыпались блестки его чарующаго остроумія; жадно подхватывались окружающими его мѣткія изреченія, изъ которыхъ каждое было въ своемъ родѣ артистическимъ издѣліемъ самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки; онъ плѣнялъ и утѣшалъ все внимлющее ему общество. Но вотъ, внезапно, неожиданно скрывшись, онъ — на обратномъ пути домой; или вотъ онъ, съ накинутомъ на спину пледомъ, бродитъ долгіе часы по улицамъ Петербурга, не замѣчая и удивляя прохожихъ... Тотъ ли онъ самый?

Стройнаго, худощаваго сложенія, небольшого роста, съ рѣдкими, рано посѣдѣвшими волосами, небрежно осѣнившими высокій, обнаженный, необыкновенной красоты лобъ, всегда отѣненный глубокою думою; съ разсѣяніемъ во взорѣ, съ легкимъ намекомъ ироніи на устахъ, — хилый, немощный и по наружному виду, онъ казался влачившимъ тяжкое бремя собственныхъ дарованій, страдавшимъ

отъ нестерпимаго блеска своей собственной, неугомонной мысли. Понятно теперь, что въ этомъ блескѣ тонули для него, какъ звѣзды въ сияніи дня, его собственная поэтическая творенія. Понятны его пренебреженіе къ нимъ и такъ называемая авторская скромность.

Таковъ былъ этотъ своеобразный, высокодаровитый, смѣлый и смиренный мыслитель и поэтъ; таковъ былъ этотъ замѣчательный человѣкъ, неотразимо привлекательный изяществомъ всѣхъ проявленій своего духа, — самымъ сочетаніемъ силы и слабости.

Аксаковъ.

Исторія литературы представляетъ иногда явленія, совершающіяся по законамъ умственной дѣятельности не общимъ, а какъ бы исключительнымъ. То, что называется постепенностью развитія, въ произведеніяхъ нѣкоторыхъ талантовъ нерѣдко ускользаетъ отъ наблюденія. Ж. Ж. Руссо сорока лѣтъ вышелъ въ первый разъ на поприще писателей и занялъ между ними первое въ своемъ родѣ мѣсто. Этого нельзя иначе изъяснить, какъ глубокимъ въ раннемъ возрастѣ постиженіемъ важности призванія писателя. Безъ яснаго, полнаго проникновенія въ тайны изящнаго искусства, молодому человѣку трудно; почти невозможно защититься отъ соблазна извѣстности и преждевременного поползновенія къ славѣ.

Подобный примѣръ предохраненія себя отъ первоначальныхъ опытовъ поэзіи представляетъ въ нашей литературѣ Тютчевъ. Онъ только въ послѣдній годъ жизни Пушкина въ первый разъ напечаталъ въ «Современникѣ» нѣсколько своихъ стихотвореній, исполненныхъ глубины мыслей, яркости красокъ, новости и силы языка. Во всемъ была ощущительна свѣжая кисть художника. Онъ каждому предмету сообщаетъ ясный образъ, привлекательное положеніе и удивительную грацію. Въ изданіяхъ его нѣть того повторенія приготовленныхъ предшественниками формъ поэзіи, которое, свидѣтельствуя о безсиліи дарованія, успокаиваетъ автора близостію труда его къ современному успѣху.

Не станемъ поддерживать парадокса, что на подобныхъ людей только во второй половинѣ ихъ жизни нисходитъ вдохновеніе, и вдругъ изъ окриленнаго ихъ ума вызываетъ вполнѣ возмужавшіе образы, наподобіе баснословной Минервы.

Вся тайна, какъ замѣчено выше, объясняется раннею жаждой истиннаго совершенства, настойчиво властующаго надъ мелкимъ самолюбіемъ. Такимъ образомъ, Тютчевъ умѣлъ устроить изъ первоначальныхъ своихъ опытовъ потаенную лѣстницу, по которой поднялся на высоту прочнаго успѣха съ своей раннею любовью къ трудамъ умственнымъ, онъ ими питалъ умъ свой въ тишинѣ и размышеніяхъ. Дипломатическая служба, еще въ первой своей молодости, увлекла его за границу. Тамъ онъ еще болѣе почувствовалъ необходимость совершенствованія. Находясь долгое время близъ лучшихъ источни-

ковъ просвѣщенія и образованности, естественно онъ становился строже. Иностранные языки, усвоенные имъ, какъ отечественный, представили ему средства не только извлекать изъ нихъ сокровища души, но и развертывать разнородныя силы ума въ собственныхъ работахъ, воплощая мысли въ этихъ новыхъ формахъ мышленія.

Въ литературѣ нашей смотрятъ на Тютчева только какъ на одного изъ лучшихъ русскихъ поэтовъ. Но молодое поколѣніе писателей успѣло уже убѣдиться, какой тонкій и высокій критической умъ соединяется въ немъ съ поэтическимъ талантомъ. Его проницательный взглядъ, указывая на самыя живыя красоты всякаго нраваго произведенія, въ то же время обнимаетъ значеніе общей идеи творчества, планъ исполненія ея, соразмѣрность и связь частей и всѣ необходимыя принадлежности искусства вообще. Если бы когда нибудь можно было, въ дополненіе къ небольшому числу изданныхъ имъ сочиненій, присоединить все, чѣмъ онъ увлекаетъ внимательный умъ, какъ публицистъ, какъ философъ, какъ историкъ и даже юристъ, то, безъ сомнѣнія, въ его лицѣ представился бы намъ замѣчательный человѣкъ нашего времени, не только по таланту и уму, но и по обширности современныхъ знаній.

Плетневъ.

- VI вып. Объ европейскомъ просвѣщениі XVII — XVIII вѣкѣ. Вліяніе его на русскую литературу и общество.
 VII " О литературной дѣятельности Екатерины II. Ц. 1 р.
 VIII " О Фонвизинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р.
 IX " О Державинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р. 50 к.
 X " О просвѣщениі въ древней Руси. Ц. 3 р.
 XI " О просвѣщениі въ XVIII в. Ц. 3 р. 50 к.
 XII " О положеніи и состояніи русского общества въ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.
 XIII " О русскихъ сатирическихъ журналахъ. Ц. 3 р.
 XIV " О Новиковѣ. Ц. 3 р. 50 к.
 XV " О Радищевѣ. Ц. 2 р. 50 к.

Сокращенная историческая хрестоматія. Ч. I. (Сборникъ историко-литературныхъ изслѣдований о народной и книжной словесности до эпохи Петра.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній (8⁰, 516 стр.). Изд. 4-е. Ц. 1 р. 25 к. *Рекоменд. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. II. (Сборникъ историко-литературныхъ статей о Кантемирѣ, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Екатеринѣ II, Фонвизинѣ и Державинѣ.) Пособіе при изученіи литературы для учениковъ среднеучебныхъ заведеній (8⁰, 1175 стр.). Изд. 3-е. Ц. 2 р. 50 к. *Одобрена Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. III. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Грибоѣдовѣ.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 75 к. (8⁰, 825 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. IV. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Пушкинѣ). Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 3-е. Цѣна 1 р. 50 к. (8⁰, 733 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. V. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ.) Изд. 3-е. Цѣна 1 р. 50 к. (8⁰, 648 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. VI. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Л. Толстомъ.) (8⁰, 1045 стр.). Изд. 3-е. Ц. 2 р. 50 к. *Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. VII. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Майковѣ, Фетѣ, А. Толстомъ и Тютчевѣ.) (8⁰, 702 стр.). Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к. *Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Сборники русскихъ диктантовъ со стороны ихъ содержанія. Изд. 2-е. Ц. 20 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для фундаментальныхъ библиотекъ.*

Систематический диктантъ для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ. Ч. I. Этимологія. Изд. 17-е. Ц. 50 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв., Уч. Ком. при Св. Синодѣ для духовныхъ училищъ и Учит. Сов. при Св. Синодѣ для церковно-приходскихъ школъ.*

Тоже. Ч. II. Синтаксисъ. Изд. 15-е. Ц. 60 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Св. Синодѣ.*

Имена существительные, употребляющіяся только во множественномъ числѣ. Ихъ родъ и окончанія. Ц. 20 к.

Справочный ореографический словарь. Изд. 11-е. Ц. 25 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются книги,

составленныя В. И. ПОКРОВСКИМЪ:

Аксаковъ, С. Т. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 к.

Гоголь, Н. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 1 р.

Гончаровъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Грибоѣдовъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 50 коп.

Григоровичъ, Д. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Достоевскій, Ф. М. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Часть I. Цѣна 50 коп.

Екатерина II. Ея жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Жуковскій, В. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Кантемиръ, А. Д. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Карамзинъ, Н. М. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Кольцовъ, А. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 30 коп.

Крыловъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 50 коп.

Лермонтовъ, М. Ю. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Ломоносовъ, М. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Майковъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Некрасовъ, Н. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Никитинъ, И. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 50 коп.

Новиковъ, Н. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Островскій, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Плещеевъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

Полонскій, Я. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб.

Пушкинъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Радищевъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 75 коп.

Сумароковъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Толстой, А. К. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Толстой, Л. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Тургеневъ, И. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 75 коп.

Тютчевъ, Ф. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 15 коп.

Фетъ, А. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

Фонвизинъ, Д. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Чеховъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 2 руб. 50 коп.

Складъ въ книжномъ магазинѣ **В. Спиридонова и А. Михайлова.**
Москва, Моховая, уголъ Тверской, д. Варварин. Акц. О-ва. Тел. 120-95.